

ДОМ С СУХИМИ ТРАВАМИ

ДЕНИС СЫТИН



Денис СЫТИН

Дом с сухими травами

«Автор»

2026

Сытин Д. Ю.

Дом с сухими травами / Д. Ю. Сытин — «Автор», 2026

Липовый Яр умеет хранить тайны. Но зимой 1896 года глухое молчание деревни взрывается: женщины одна за другой теряют способность говорить. На их губах проступают сукровичные рубцы, словно стянутые невидимой красной нитью, а из-под пола и с глухого речного дна доносится детский стук. Молодая повитуха Варвара возвращается в родной дом на похороны матери и оказывается заперта в мире, где мёртвые требуют слова. Тридцать лет назад в бане по-чёрному заживо замуровали молодую невесту Акулину — чтобы скрыть страшную цену, которой община спаслась от голода. Теперь Невеста вернулась за именами виновных. Чтобы остановить проклятие, недостаточно найти убийцу. Варваре придётся сделать то, перед чем отступила вся деревня, — разрезать шов лжи и вслух называть преступницей собственную мать. Беспощадный герметичный хоррор о коллективном грехе, цене выживания и страхе, который передаётся по наследству. Что ты выберешь: сберечь близких или выдернуть нить из собственного рта?

© Сытин Д. Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чужим голосом	5
Глава 2. Дом с сухими травами	10
Глава 3. Не болезнь	14
Глава 4. Женщины замолкают	18
Глава 5. Дорога наружу	25
Глава 6. Старая баня	29
Глава 7. Человек, который не слышит	33
Глава 8. Женский узел	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Денис Сытин

Дом с сухими травами

Глава 1. Чужим голосом

Колёса телеги с тяжёлым, хрустящим визгом дробили подмёрзшую грязь. Завитки изморози облепили оси, и каждый оборот отзывался в затылке Варвары дятловым, сухим стуком.

Липовый Яр открывался не сразу. Сначала из серого, набрякшего речной сыростью тумана выпросталась кромка чернеющего ельника, потом — изгиб Вежи, обставленный косматыми от инея ивами, и лишь за ними, на высоком яру, проступили бревенчатые крыши. Деревня стояла затаившись, точно зверь в норе, прижав подворья к самой круче.

Варвара поправила на плечах плотную суконную тальму, поглубже втянула подбородок в вязаный шарф. Воздух пах вымороженной полынью, конским потом и горчащим дымком сырых сосновых дров — густым, въедливым запахом низовых прикамских селений, который она, казалось, вытравила из памяти за годы учебы и фельдшерской практики в губернии. Оказалось — не вытравила. Он въелся в кожу с детства, под ногти, в самые поры.

— Не торопится лошадёнка-то, — просипел возница, старый дед Антип, не оборачиваясь. Полы его промасленного тулупа потемнели от мокроты, а от загревка разило прелой соломой. — Чует, поди, Куда везёт. К покойнику скотина всегда шагом идёт, ногу бережёт.

— Она не к покойнику идёт, дед, — суховато ответила Варвара. Голос её, отвыкший от долгого молчания на холодном ветру, прозвучал ломко. — Она в деревню идёт. А мать я сегодня же заберу и предам земле.

— Экая скорая, — Антип сплюнул через борт телеги в пожухлый полынок. Слюна темно пожелтела на сизом насте. — Мать-то твоя, Арина, не простая баба была. Повитухой тридцать лет держала Яр, ни одной роженицы на тот свет без срока не отпустила. А сама вот... без срока и ушла. Свернулась за одну ночь, как листок ожоговый. Ты думаешь, предашь земле — и шито-крыто? В Яру земля-то с памятью, девка. Она проглотить-то проглотит, да не сразу переварит.

Варвара не ответила. Под пальцами в суконном кармане лежал маленький мешочек с высушенным корнем валерианы и пузырёк с карболовой кислотой — скромный арсенал земской повитухи, привезённый из города. Она верила в чистые бинты, в раствор сулемы и в правильное предлежание плода. В «память земли» и деревенские басни она верить отучилась в первый же год работы на прииске под Пермью, где человеческое мясо рвалось о шурфы без всякого волхования, от простой пьяной халатности и дурного крепежа.

Телега миновала крайние избы. Липовый Яр молчал.

Это молчание не было покойным тихим сном утреннего села. Избы с заколоченными или глухо закрытыми ставнями смотрели на проезжую дорогу с подслеповатым, упрямым подозрением. Ни дыма из иных труб, ни собачьего лая, ни девичьего смеха у колодца. Лишь у ворот подворья Кочергиных прошмыгнула баба в тёмном платке, таща намытый в проруби чубук; заметив Варвару, она не поклонилась, не остановилась спросить о дороге, а метнулась в калитку, задвинув засов с сырым, плотным щелчком.

Варваре исполнилось двадцать пять, но сейчас, под этим тяжелеющим взглядом закрытых окон, она снова почувствовала себя девчонкой, которую мать заставляла до рассвета выскребать деревянный пол горницы песком добела.

— Куда править-то? — спросил Антип, придерживая вожжи на развилке. — К церкви или в материнский дом?

— К церкви Николая Чудотворца, — отрезала Варвара. — Мать оттуда выносить должны. Отпевание утром назначали.

— Назначали-то назначали, — пробормотал старик, и в его сиплом голосе перекатилась острая, мелкая дрожь. — Да опевать-то кому? Отец Савватий от страха третьей сутки ладаном упивается, из кельи не выходит.

В этот момент над деревней, взрезая морозное марево, ударил колокол.

Звук был густой, медно-тяжёлый, прокатившийся над нахмуренными крышами и застывшей Вежей. Он прошёл по хребту ледяной судорогой. Варвара вскинула голову, всматриваясь в чешуйчатый купол деревянной колокольни.

Колокол ударил второй раз. Звонарь бил в перебор — медленно, по-покойному.

Бум...

И вдруг, на третьем замахе, звук не родился. Звонарь, должно быть, ударил в язык, но вместо метеоритного медно-чистого гула над Ярмом пронёсся короткий, плоский хруст — будто сухая кость переломилась в суставе.

Гудение пресеклось на полуноте. Воздух над колокольней мгновенно осел, опустел, оставшись стерильно тихим.

Антип судорожно перекрестился, выпустив из пальцев веревочные вожжи. Лошадь остановилась сама собой, всхрапнув и выставив уши.

— Всё, — шепнул старик, и губы его бескровно подобрались к деснам. — Замкнуло.

В притворе церкви пахло сухой известкой, овечьим тулупным потом и прогорклым постным маслом. Свет пробивался сквозь узкие, покрытые морозным узором оконца косыми, мутными столбами, в которых медленно кружилась серыми хлопьями пыль.

Арину Мокееву положили посреди горницы храма в простом сосновом домовище, едва отёсанном топором.

Варвара подошла к гробу не колеблясь, хотя собравшиеся у стен женщины отхлынули, зашуршав юбками, словно сухая листва от порыва сквозняка.

Мать лежала неподвижно, сложив на груди тёмные, с узловатыми суставами пальцы. Лицо её, при жизни сухое и жёлтое от постоянного дыма печи да травных отваров, сейчас казалось вылепленным из подтаявшего воска. Но Варвару поразило не это. Не морщины и не скорбная складка у рта.

Губы Арины были сжаты с такой нечеловеческой, судорожной силой, что синеватая кайма их почти исчезла, превратившись в тонкую, запёкшуюся нить. При жизни мать любила говорить — певуче, с заговором, с переливом, как умеют только старые повитухи, баюкающие роженицу в потухающей бане. В гробу же она смотрелась не умершей, а *заставившей* себя замолчать.

— Не обмывали её толком, — шепнул за спиной отрывистый, сиплый голос.

Варвара обернулась. Рядом стоял отец Савватий. Священник казался постаревшим на десяток лет: риза на нем висела мешком, под глазами набрякли бурые мешки, а от длинной, плохо расчёсанной бороды разило не церковным миром, а крепким, неочищенным первачом. В руке он сжимал кадило, но углей в нём не было — металл был холоден и тёмно поблёскивал.

— Почему не обмыли? — спросила Варвара, понизив голос. — Вы же знаете обряд, батюшка. Мать всю жизнь при церкви ходила.

— Страшно было к ней касаться, Варвара Петровна, — Савватий отвёл глаза, уставившись на поклёванный молью лик Николая Угодника на иконостасе. — Бабы пришли её прибрать, да как увидели, как у нее челюсть сведена... Никакой подвязкой не удержишь. Она ж перед самой кончиной горницу заперла. Изнутри. Мы дверь топором рубили. На пороге она и лежала. И ни звука не подала. А ведь умирала долго... судя по ногтям.

Варвара вздохнула, чувствуя, как в груди закипает привычное, холодное раздражение земского врача перед темным суеверием.

— У неё мог быть инсульт. Апоплексический удар. При нём мышечный спазм сводит челюсти так, что и железом не разомкнёшь. При чём тут «страшно»?

Священник ничего не ответил, только истово, трижды перекрестился, повернувшись к тёмному углу, где стояли женщины деревни.

Их было десятка полтора — вдовы, старые девки, молодухи. Они ждались вместе, плечом к плечу, поджав губы и спрятав руки под шали. Среди них Варвара сразу заметила Фёклу Рябинину.

Фёкла была ровесницей матери, но выглядела крепче: широкая в кости, плотная баба, известная на весь Яр своим сварливым, зычным голосом. Однако сейчас Фёкла стояла обособленно, прижавшись спиной к бревенчатой стене под лампадой. Её плат был надвинут на самый лоб, а нижняя часть лица закутана тёмным платком до самого носа.

Когда Варвара перевела на неё взгляд, Фёкла вздрогнула. Пальцы её, судорожно державшие край шали, разжались на мгновение.

На нижней губе Фёклы, прямо по белой, обветренной коже, тянулся тонкий, буро-красный след. Не царапина, не запекшаяся ссадина — ровный, глубокий стежок, словно кожу прокололи толстой цыганской иглой и сухой суровеющей нитью и стянули намертво.

Варвара сделала шаг к ней. Бабы в толпе охнули и пятились, освобождая дорогу.

— Фёкла Василевна, — тихо сказала Варвара, становясь перед ней. — Покажи горло. Что у тебя с губой?

Фёкла молчала. Глаза её — выцветшие, водянистые, полные дикого, зверьего страха — метались от Варвары к гробу Арины. Она судорожно отрицательно качнула головой и ещё плотнее прижала платок к лицу.

— Фёкла, я фельдшер, — мягко, но с нажимом произнесла Варвара, протягивая руку к её плечу. — У вас в деревне дифтерит или жаба? Покажи, не упрямься.

Она коснулась края шали. Ткань была влажной от часового дыхания.

Фёкла отпрянула, ударившись затылком об икону. В этот момент из её груди вырвался звук.

Это не был человеческий голос. Не сип, не стон и не всхлип. Из зажатого, стянутого нитяным следом рта Фёклы вырвался звонкий, девичий, почти свадебный перелив — чистый, как весенняя вода на перекате, но холодный до тошноты.

Голос звучал не из горла — он шёл будто из самого воздуха вокруг неё, из щелей между брёвнами, из пыльных столбов света.

— *Варвара...* — произнёс этот звонкий девичий голос, пропел легко и чисто, с лёгким напевом, присущим молодым невестам перед венцом. — *Варвара-краса... Нам с тобой одну ниточку прясть...*

В церкви стало так тихо, что было слышно, как в паникадиле трещит восковой наплыв.

Фёкла зажала рот обеими руками, из её глаз брызнули слезы, омывая красную, воспалённую линию на нижней губе. Она осела на крашеный пол горницы, подогнув колени, и билась лбом о доски, издавая лишь глухое, мычащее сипение.

Но голос — чистый, невинный и мёртвый — продолжал висеть под куполом, пока не истаял в запахе старого ладана.

На погосте снег лежал плотно, но под деревьями, где раскинулись лапы старых елей, земля оставалась чёрной, мерзлой и твердой, как чугун.

Арину опустили быстро. Намокшие пеньковые канаты скрипели с сухим, удушливым звуком. Когда гроб ударился о дно ямы, из толпы никто не причитал — деревенские женщины стояли, поджав губы, зябко пряча руки в муфты и рукава, а мужчины торопливо бросали по комку мерзлой глины, силясь быстрее закончить дело.

Варвара бросила свою горсть последней. Земля стукнула о крышку гроба с глухим, окончательным звуком — *бум*. Словно закрылась тяжелая дубовая дверь в погреб.

— Всё, шабаш, — громко, на весь погост произнес Мирон Кочергин.

Староста выступил вперед, расправив широкие плечи под дохой из волчьего меха. Лицо у Мирона было круглое, сытое, с густыми, тронутыми сединой бровями и маленькими, вьедливыми глазами. Он держал в руке тяжелую связку железных ключей от волостного амбара и церкви, и эти ключи побрякивали при каждом его движении, точно кандалы.

— Разходитесь по домам, бабы, — распорядился Мирон, обводя взглядом попятившихся деревенских. — Нечего тут сопلي морозить. Арина своё отжила, Богу душу отдала. А что кому причудилось в храме — так то от поста да от страху. Вы мне тут бабьих бунтов не затевайте. Федюшка, закапывай!

Мужик с лопатой торопливо замахал руками, бросая сухую грязь в яму.

Варвара не двигалась. Она смотрела, как Фёкла Рябинина, поддерживаемая под локти двумя вдовами, тяжело поплелась к кладбищенской калитке. Ноги Фёклы волочились по снегу, оставляя две глубокие, неравные борозды.

— Мирон Евсеевич, — окликнула старосту Варвара.

Кочергин медленно повернулся. Его волчья доха распространяла тяжелый запах дикого зверя и дегтя.

— Чего тебе, Петровна? Ты б тоже собиралась. Похоронила мать — и слава Богу. У вас в городе дела, поди, медицинские. Нечего тебе в Яру задерживаться. Зима встает плотно, Вежа перемерзнет — до весны не выберешься.

— Что с Фёклой? — Варвара сделала шаг к нему, игнорируя предписание уехать. — И что с остальными бабами? Я видела, у трёх женщин на сходе платками лица закрыты. Они не от мороза прячутся, Мирон Евсеевич.

— Не твоё фельдшерское дело! — отрезал староста, и голос его впервые звякнул сухой, чиновничьей сталью. — В Липовом Яру свой порядок. Мать твоя знала порядок — и ты не встревай. Федюшка, живо заравнивай!

Варвара развернулась и пошла прочь от свежего могильного холма, догоняя Фёклу.

Она нагнала её у самого перекрёстка, где дорога от погоста ветвилась — одна ветка уходила к деревне, другая, заросшая бурьяном, спускалась к реке, к старой, почерневшей бане Мокеевых.

— Фёкла Василевна, стой!

Варвара схватила женщину за локоть через толстый суконный рукав. Две вдовы, ведшие Фёклу, испуганно ойкнули и вырвали свои руки, шарахнувшись в стороны.

— Не трогай её, Петровна! — зашипела одна из них, кривоглазая Степанида. — Она заговоренная! Не кличь беду на свою голову, уезжай!

Варвара не слушала. Она насильно повернула Фёклу к себе.

Лицо женщины было серым, цвета сырой глины. Губы — под платком, который сполз, — выглядели ужасно: сухая красная линия теперь набрякла, вокруг нее кожа посинела, а на самом уголке рта выступила крошечная, сукровичная капля. Фёкла смотрела на Варвару с безумной, умоляющей тоской.

— Слышишь меня? — Варвара перехватила её руку за запястье, профессиональным движением нащупывая пульс. Пульс был частый, рваный, как у загнанного зайца. — Я могу помочь. У меня есть ланцет, есть прижигалка, есть чистый спирт. Если это зараза — её надо вскрыть и промыть!

Фёкла медленно, словно преодолевая нечеловеческое сопротивление, подняла свободную руку. Её пальцы — корявые, с почерневшими от работы ногтями — были ледяными, точно она держала ломик на морозе.

Она не стала сипеть или пытаться вытолкнуть хоть звук.

Фёкла схватила Варвару за полу тальмы, подтянула к себе и своей мозолистой, заскорузлой ладонью провела по голой ладони Варвары.

Палец Фёклы двигался с нажимом, вычерчивая на коже Варвары буква за буквой. Кожа горела от этого прикосновения, словно по ней водили раскаленным гвоздем.

Буква *О*. Буква *Н*. Буква *А*.

Пауза. Фёкла тяжело, с хрипом вздохнула, из её носа потекли сукровичные сопли.

Буква *В*. Буква *Е*. Буква *Р*. Буква *Н*. Буква *У*. Буква *Л*. Буква *А*. Буква *С*. Буква *Ь*.

Фёкла вывела последний мягкий знак с такой силой, что царапнула ногтем кожу Варвары до белого следа. Затем она вырвала свою руку, развернулась и, не разбирая дороги, побрела по глубокому снегу прямо к своему дому, качаясь из стороны в сторону, словно пьяная.

Варвара осталась стоять на перекрёстке.

Ладонь горела. На белой коже ясно проступали красные, налитые кровью полосы — выведенное пальцем немой женщины:

ОНА ВЕРНУЛАСЬ.

С реки Вежи, из-за крутого яра, потянул ледяной, размашистый ветер. Он принёс с собой запах застоявшейся, гнилой воды, прелого лубочного волокна и свадебного воска. А от заброшенной бани Мокеевых, стоявшей у самой воды, донесся сухой, ритмичный стук.

Тук. Тук. Тук.

Словно кто-то изнутри промёрзшей горницы водил сухим гвоздём по дверному косяку.

Глава 2. Дом с сухими травами

Сумерки оседали на Липовый Яр быстро, как тяжелая, отсыревшая дерюга. Клейкий огарковый свет керосиновой лампы «молния» едва разгонял мрак по углам материнской избы.

Дом Мокеевых стоял на осыпи, задом к реке Веже, высокими бревенчатыми ребрами врезавшись в суглинок. Здесь пахло иначе, чем в притворе Николаевской церкви: не прогорклым постным маслом и сырой известкой, а старыми, до хруста высохшими травами. Снятые с боровков пучки зверобоя, пижмы, тысячелистника и черногольника свисали под потолочными бапками пёстрыми, пыльными метелками. Они высохли до состояния порошка и при каждом шаге Варвары отдавали в тёмную горницу сухим, пьяняще-горьким гулом.

Варвара сняла суконную тальму, осталась в тёмно-коричневом шерстяном платье с тугим земским воротничком и прошла по горнице.

Каждая вещь здесь знала свое место пятьдесят лет подряд. Печь-шведка с изразцовым подтопком, суковый табурет, накрытый домотканым половиком, кованая подставка под умывальник с медным носиком. Но над всей этой незыблемой бытовой крепостью висела едва заметная, тошнотворная изъязина.

На столе, под тяжелым дубовым поставцом, лежал толстый слой серой, хлопьевидной золы.

Варвара подошла, посветила лампой. Зола была холодной, но не печной — не крупной сосновой или берёзовой пеплом, а легкой, бумажной.

Мать жгла тетради.

Арина Мокеева тридцать лет вела толстые сшивки из обёрточной бумаги: записывала рождениц, сроки пологов, отвары от почечуя да от застойной грыжи, знахарские приметы и долги деревенских за повивальное дело. Эти тетради Варвара помнила с малолетства — мать берегла их пуще икон, пряча в кованый сундучок под божницей.

Теперь кованый сундучок стоял на полу. Крышка его была откинута. Внутри — пусто, только на дне серая бумажная пыль да сухие мышинные катышки.

— Зачем? — вслух шепнула Варвара. Голос её увяз в сухих вениках пижмы. — Зачем ты жгла, мама?

Она опустилась на колени перед печью. Вьюшка была закрыта, чело дышало ледяным, погребным сквозняком. Варвара запустила пальцы в сажу печурки, разгребая холодные уголья. Пальцы наткнулись на что-то плотное, суховато-хрустящее, не успевшее истлеть до конца.

Она выпростала руку. На ладони лежал обгоревший по краям обрывок страницы из толстой ведомости. Бумага пожелтела от времени и воска, но строки, выведенные черной, блеклой тушью, ещё держались.

Варвара поднесла обрывок к самому стеклу лампы.

Почерк матери — размашистый, с крутыми хвостами букв «в» и «р» — выводил не медицинские заметки.

«...декабря 14 дня. Федосына дочка, восьми годов. Отдана по уговору Мирона на прииск. В ведомость церкви не писать. В воду не просить. Защить намертво, чтоб не...»

Слово обрывалось обугленным, запёкшимся краем.

Варвара замерла. В груди у неё заглодело — резко, с маху, будто она глотнула ледяной речной воды со снегом. Пальцы, державшие бумагу, мелко задрожали.

Восемь лет. Восьмилетняя девочка.

Варвара знала Федосью — тихую, горбатую вдову с заворского края, которая вымерла всей избой в голодный девяносто второй год. Но Федосына дочка, по рассказам деревни, «утонула в Веже по перволедью». Так говорила мать. Так говорил Мирон.

Уничтожая перед смертью эти записи, Арина Мокеева не о душе своей пеклась. Она чистила память.

За окном, в глухом тёмном переулке, затопали тяжелые, хрустящие по насту шаги. Кто-то прошёл вдоль плетня, медленно цепляя рукавом сухие кольца, остановился напротив окна, постоял минуту, дыша глубоко и сипло, и двинулся дальше к реке.

Варвара поднялась с колен, вытерла испачканные сажей пальцы о платочек и вернулась к сундуку.

Он стоял в углах у красной божницы, тёмный, дубовый, окованный полосовым полосовым железом с просечкой. Замок на нем был снят и лежал рядом — тяжелый, пружинный, узорчатой уральской работы.

Варвара опустила на корточки. От сундука разило старым нафталином, слежавшимся овечьим руном и глухой, подпольной сыростью. Она вытащила верхний слой: пожелтевшие ризовые скатерти, подшитые кумачом подзоры, материнский праздничный штофный шугай.

На самом дне, под плотной холщовой простырей, лежало то, ради чего, вероятно, сундук и не был сожжён целиком.

Небольшой деревянный клубок.

Варвара протянула руку и взяла его. Это был не шерстяной моток и не суровые нитки. На ладонь легла целая пасма толстой, сученой дратвы — красной, буро-черепичного оттенка, какой красили лубочные нити в старинных монастырских мастерских. Нить была сухой, жёсткой, пропитанной воском и чем-то липким, тяжело пахнущим прелым конским волосом и запёкшейся сукровицей.

В самой середине пасмы был завязан узел.

Узел выглядел дико, неправильно. Он не был похож ни на ткацкий, ни на мертвую петлю: нити переплетались в жуткую, многослойную шишку, словно их скручивали и стягивали пальцами в лихорадочном, безумном спеху.

Варвара взяла узел двумя пальцами, силясь распутать. Кожа на пальцах сразу взмокла от чуждого, въедливого холода, идущего от нити. Промасленное волокно под ногтями даже не поддалось — оно казалось литым, точно отлитым из бурого чугуна.

— Ну же... — процедила Варвара сквозь зубы.

Она достала из сумочки никелированный земский скальпель. Лезвие, заточенное Пермским мастером до бритвенной остроты, блеснуло в желтом свете «молнии». Варвара прижала узел к краю сундука и с нажимом повела сталью по бурому волокну.

Кхр-р...

Скальпель соскользнул. Сталь звякнула о кованую полосу сундука, оставив на железе глубокую белую царапину.

Красная нить осталась невредимой. Ни одно волоконец не поддалось, не распушилось. Более того — на месте удара лезвия на бурой нити выступила крошечная, мутная капля сырости, и запах запёкшейся крови в горнице мгновенно уплотнился, став удушливым, как в бойне.

Варвара отпрянула, выронив скальпель.

Лезвие с тихим *дзинь* впилося в сосновую половицу.

Варвара тяжело задышала, чувствуя, как мелкий, лихорадочный тремор охватывает мышцы плеч. Наклонившись, чтобы поднять инструмент, она случайно глянула на внутреннюю сторону откинутой дубовой крышки сундука.

Свет лампы упал косо. На потемневшем от времени дубе, прямо под железной петлей, были выскреблены слова. И выскреблены не ножом или долотом — их выводили долго, судорожно, ногтями или тонкой швейной иглой, выцарапав древесину до белых, разлохматившихся щепок.

Строка шла криво, заваливаясь в угол:

НЕ ЗАШИВАЙ ЖИВУЮ. ОНА ЕЩЁ СЛЫШИТ.

Варвара замерла над сундуком. Воздух в горнице вдруг стал густым, тяжелым, точно перед летней грозой, и ламповое стекло сухо, со звоном треснуло от верхнего края к нижнему.

Свечной наплыв на божнице тихо оплыл, залил сухим воском тёмный лик Казанской Божьей Матери.

Варвара подняла скальпель, спрятала его в кожаный футляр. Руки её восстановили твердость — взял верх тот самый холодный, сухой рассудок, который спасал её на уездных полах, когда роженицы бились в родильной горячке.

Деревенский морок. Суеверие. Отрава травная. Арина под конец жизни, видно, лишилась ума от одиночества и вины.

Она потянулась к лампе, чтобы отрегулировать фитиль, когда из соседней, чистой горницы — той, где лежала мать перед отпеванием — донесся звук.

Ш-ш-ш... хрусть.

З звук был сухим, коротким, ритмичным. Словно кто-то с силой протаскивал намыленную, жесткую нить сквозь сухую, сопротивляющуюся кожу.

Ш-ш-ш... хрусть.

Пауза. Затесавшаяся в угол запечная сверчковая мелодия мгновенно оборвалась. Тишина, навалившаяся на избу, была такой плотной, что Варвара слышала, как завывает кровь у неё в висках: *стук-стук, стук-стук*.

Варвара взяла лампу. Стекло треснуло окончательно, и тонкая копоть потянулась вверх черным язычком.

Она сделала шаг к резным дверям чистой горницы. Половицы под её полными земскими ботинками не скрипнули — вымороженное дерево стояло намертво.

Ш-ш-ш... хрусть.

Звук шел снизу. От самого порога.

Варвара толкнула дверь. Петли отозвались сухим, жалобным сипом.

Чистая горница встретила её ледяным оскалом. Окна здесь не были завешены плашками, и белесый, беззвёздный лунный свет, пробиваясь сквозь наплывы инея, ложился на полированные доски пола широкими, мертвенными полосами.

Посреди комнаты стояли два табурета, на которых днем стоял гроб Арины. Табуреты были пусты. На одном из них лежал оставленный бабами кусок сухого полотна, которым закрывали лицо покойницы.

Помещение казалось стерильно чистым. Но температура здесь упала так резко, что выдох Варвары мгновенно превратился в густой, серый клочок пара.

— Кто здесь? — громко спросила она. Голос прозвучал чужо, обрезавшись под бревенчатый потолок.

Никто не ответил.

Варвара опустила лампу ниже. Свет выхватил из тьмы край лавки, уголок сукна и... белую, нетронутую пыль на половицах.

Никого. Горница была пуста.

Но звук не прекратился. Он изменился.

Теперь он шел не от порога. Он раздавался прямо над её головой — из-за сухих, облепивших потолочные балки метелок пижмы и полыни.

Ш-ш-ш... хрусть.

Кто-то протягивал нить сквозь сухое дерево балки.

Варвара медленно, преодолевая одеревенение в шее, подняла лампу над головой. Жёлтый круг света мазнул по черным бревнам потолка.

Прямо над тем местом, где стоял гроб матери, из щели между бревнами свисала тонкая, буро-красная нить. Она не висела неподвижно. Она **двигалась**.

Кто-то неувидимый, сидевший там, в глухом, забитом прелой соломой чердачном пространстве, медленно, стежок за стежком, утягивал нить вверх, в темноту. И с каждым движением этой нити из щели на чистый пол горницы падали сухие, черные хлопья.

Не сажа. Не прелая солома.

На крашеный пол падали сухие, аккуратно срезанные человеческие ногти.

А затем из-за балки, из самого густого, смоляного мрака чердачного лаза, вырвался шепот. Это был не голос матери. Не голос Фёклы.

Это был чистый, прозрачный шепоток семнадцатилетней девки, баюкающей убаюканное дитя:

— *Не зашивай... Варварушка... Живая я... Под полом живая...*

Лампа в руке Варвары вспыхнула синим чающим пламенем, силикатное стекло лопнуло со слитным хрустом, и горница погрузилась в полную, непроглядную тьму.

Глава 3. Не болезнь

Утренний свет над Липовым Яром вставал не белым — тусклым, сизым, цвета оловянной мыльницы. Мороз за ночь затянул низменности у Вежи плотным, чадным инеем, отчего избы на яру казались вырезанными из сухой сосновой коры и брошенными на куделю.

Изба Рябининых стояла на самом краю деревни, у овражного колодца, чей ворот оброс кривыми, синеватыми сосульками. В горнице пахло незамешанным овсяным пойлом, кислым ржаным опаром и слежавшимся, сырым козым пухом.

Варвара поставила свой никелированный земский саквояж на края чисто вымытого, но потемневшего от времени дубового стола. Защелка замка щелкнула сухим, стальным звуком — единственный чужеродный, городской звук в этой застывшей полутьме.

Фёкла сидела на лавке под иконами, прижав лопатки к бревенчатой стене. Ее плат сполз на плечи, открывая широкую, багровую от мороза шею и тяжёлый подбородок. Глаза бабы были сухи, воспалены, с тонкими, чернеющими ниточками лопнувших сосудов на склерах. На нижней губе, прямо по сухой обветренной коже, всё так же набрякала ровная, темно-бурая полоса — похожая на незаживший, натянутый стежок.

— Не крутись, Василевна, — суховато, ровным голосом врача произнесла Варвара, растёгивая манжеты коричневого платья и заворачивая рукава по локоть. — Давай по порядку. Повитушьи сказки оставим Миرونу, а мы с тобой люди взрослые.

Фёкла молчала. Пальцы ее коряво, судорожно сжимали край домотканого половика.

Варвара достала из саквояжа узкое медицинское зеркальце на серебряной ручке и плоский металлический шпатель. Промыла сталь спиртом из пузырька — острый, резкий запах карбола и ректификата мгновенно перебил сухой травяной дух горницы.

— Открой рот. Сделай вдох.

Фёкла не шелохнулась. Глаза её замерли, уставившись на угловой сундучок.

Варвара мягко, но непреклонно перехватила её за подбородок левой рукой. Кожа Фёклы была горячей, суховатой, с лихорадочным, рваным пульсом на сонной артерии. Варвара ввела шпатель, отдала тяжелый, шершавый язык вниз и поднесла зеркальце к самому зеву.

В горле не было ни сероватых дифтеритных пленок, ни малинового отека скарлатины, ни рыхлых гнойных пробок крупы. Слизистая оболочка глотки выглядела почти здоровой — чуть бледнее нормы, прочерченная тонкими синеватыми венками. Гортань, язычок, небные дужки — всё находилось на своих местах, не деформированное болезнью, не изъеденное язвой.

Физически Фёкла Рябинина была абсолютно здорова.

— Вдохни, — повторила Варвара, глядя в глубину зева через круглое зеркальце. — Скажи «а-а». Напряги связки.

Фёкла судорожно глотнула. Ее кадык дернулся вверх и вниз, под кожей шеи натянулись жесткие струны сухожилий. Из глубины гортани вырвался лишь глухой, сухой сип — так шуршит сухая солома, когда по ней проводят кожаным сапогом.

— Ещё раз, — настойчиво нажимая шпателем, проговорила Варвара. — Сделай усилие.

Фёкла зажмурилась. Из-под вечно опухших век брызнули мелкие, злые слезы. Мышцы ее челюсти перекосило судоргой, рот раскрылся шире, чем может раскрыть человек без боли, и из самой глубины здорового, чистокровного гортанного зева вырвался звук.

Это снова был не её голос.

Звук был чистым, девичьим, звонким, прохладным, словно над замерзшим оврагом звякнуло подсеченное льдинкой ведро.

— *Аку-у-лина...* — пропел этот чужой, невинный девичий голос, растягивая гласные с тихой, почти ласковой тоской. — *Акулинушка...*

Шпатель в руке Варвары звякнул о зубы Фёклы.

Варвара дернула руку назад. Фёкла мгновенно захлопнула рот, зубы щелкнули с сухим хрустом, капля сукровицы с выступившей красной линии на губе упала на белое полотно Варвариного фартука.

В горнице снова стало тихо. Слышно было только, как за печкой сыпется в щель подпола сухой суглинок да в окне тихонько дребезжит одинарное, тусклое стекло.

Варвара стояла над немой бабой, чувствуя, как у нее самой под ложечкой сводит ледяным, тяжелым спазмом. Медицинский опыт, Пермская практика, наставления профессора земской медицины — всё рушилось перед этой бледной, чисто протертой глоткой, из которой только что прозвучало чужое имя.

— Горло здорово, — выдохнула Варвара, и её собственный голос прозвучал суше обычного. — Боль не там.

Варвара опустила шпатель в стеклянный стакан со спиртом. Провела пальцами по вискам, переводя дыхание, а затем достала из саквояжа сафьяновую тетрадь в тёмном переплете и стальное перо.

— Хорошо, — сказала она, становясь перед Фёклой и смотря ей прямо в водянистые, полубезумные глаза. — Говорить ты не можешь. Или тебе не дают. Но слух у тебя есть. Слышишь меня?

Фёкла едва заметно, дрожащим подбородком, кивнула.

— Рукой двигать можешь? Напишешь?

Варвара обмакнула перо в пузырек с чернилами, положенный на край стола, и протянула его женщине вместе с чистым листом плотной обёрточной бумаги.

Фёкла уставилась на перо с таким страхом, словно ей протягивали раскаленный гвоздь. Рука ее — корявая, с потемневшими от осенней копки картошки ногтями — тряслась так, что чернильная капля сорвалась с пера и упала на бумагу ровной, черной бляшкой.

— Пиши, Василевна, — нажимая на её плечо, проговорила Варвара. Голос её звучал строго, бескомпромиссно. — Напиши, что случилось в ночь, когда умирала мать. Что у тебя с губой? Это порча? Отрава? Или вас кто-то запугал?

Фёкла судорожно перехватила перо обоими руками, точно ложку. Сталь с сухим, рваным скрежетом впиалась в оберточный лист.

Скр-р-р... кхр-р...

Пальцы женщины двигались дёрганно, шарнирно, словно ими управляли извне — не через мозг и нервы, а натягивая невидимые суровые нити прямо за суставы. Первые буквы вышли корявыми, гигантскими, прорывающими бумагу до стола.

Варвара наклонилась над её плечом, следя за движением стального пера.

Фёкла вывела:

Н Е

Пауза. Перо задрожало над бумагой, роняя мелкие брызги. Фёкла тяжело, с сипом вздохнула, из её носа потекли сукровичные сопля, омывая красную линию на нижней губе.

Вторая строка легла ниже, ровнее, словно написанная чужим, аккуратным девичьим почерком, какого у неграмотной Фёклы никогда не было и быть не могло:

Б О Л Е З Н Ь

Варвара замерла. Черный адгезивный след букв горел на серой бумаге, точно выжженное клеймо.

— А что это? — тихо, понизив тон, спросила Варвара. — Кто это делает?

Фёкла затрясла головой. Перо снова заскребло по бумаге, вычерчивая строчку с дикой, лихорадочной скоростью. Сталь рвала волокна, чернила расплывались бурными пятнами, но имена проступали четко, одно за другим:

А К У Л И Н А М И Р О Н А Р И Н А

На слове «Арина» перо переломилось со слитным сухотным хрустом. Чернильный пузырёк на столе тихо, самовольно звякнул и дал трещину — тонкая черная струйка потекла по дубовой доске к краю стола, капая на пол: *кап... кап... кап*.

Фёкла выронила сломанный пенек пера, закрыла лицо испачканными в чернилах и сукровице ладонями и осела на лавку, сотрясаясь в бесшумном, сухом плаче. Из ее зажатого рта не вырывалось ни звука — лишь воздух с свистом входил и выходил сквозь сжатые ноздри.

Варвара взяла лист, поднесла к свету окна.

Три имени. Три участника. Акулина — пропавшая невеста. Мирон — волостной староста. Арина — её собственная, вчера погребенная мать.

— Какая связь между ними, Фёкла? — Варвара схватила плечо немой женщины, встряхивая её. — Говори! Или пиши! Какая связь?!

Фёкла не ответила. Она только судорожно указала пальцем в сторону мутного, покрытого узорами инея окна.

Варвара выскочила на крыльцо избы Рябининых.

Морозный воздух после удушливой сырости горницы ударил в легкие, точно обжег ледяным купоросом. Варвара жадно вдохнула, натягивая на плечи суконную тальму.

На белом, свежесвыпавшем ночном насте, тянувшемся от палисадника Фёклы прямо к оврагу и дальше — к чернеющей на дне реке Веже, отпечатались следы.

Это были не следы мужицких сапог и не отпечатки бабьих поршней.

По чистому, вымороженному снегу шли следы **босых человеческих ног**.

Следы были узкими, девичьими, с четко пропечатавшимися пальцами. Человек шёл легко, не торопясь, ступая прямо по колеящему насту. Но странно было не это.

Вокруг следов снег не был подтаявшим — он был **выжжен**. Край каждого отпечатка подернулся тонкой, буро-жёлтой ледяной корочкой, словно нога, ступавшая здесь, была раскалена, как печной колосник.

Варвара сделала пять шагов по следам. Ноги в земских ботинках проваливались со скрежетом, а эти босые отпечатки лежали на самой поверхности наста, не проламывая хрупкий наст.

Следы вели к реке. Туда, где среди ивняка чернела крыша заброшенной бани Мокеевых.

— Варвара! — просипел сзади чей-то голос.

Варвара резко обернулась, рука её автоматически легла на сумочку с медицинскими инструментами.

Из-за угла соседнего хлева выпростался Мирон Кочергин. Староста был в своей неизменной волчьей дохе, на голове — каракулевая шапка, в руке — тяжелый кнут с железным набалдашником на рукояти. Лицо у Мирона было красным, дышало перегаром и морозом, а маленькие глаза смотрели на Варвару с холодной, прищуренной злобой.

— Ты чего тут вынюхиваешь, Петровна? — громко, на весь переулок спросил Мирон, подступая к ней. Снег под его тяжелыми сапогами хрустел сухим, размашистым звуком. — Я ж тебе по-русски сказал: нечего бабам голову морочить. Фёкла дура, у неё кликушество от поста началось. А ты ей чернила суешь!

— У Фёклы нет кликушества, Мирон Евсеевич, — Варвара выпрямилась, выравнивая дыхание и глядя старосте прямо в переносицу. — У Фёклы немота. И не у неё одной. В деревне ещё три бабы замолчали. Вы почему уездного врача не вызываете? Почему земству не донесли?

— Земству? — Мирон суховато оскалился, показывая желтые, редкие зубы. — Земству тут делать нечего. В Липовом Яру свой уклад. Если бабы дурят — мы их молитвой да постом в чувство приведем. А будешь бунт сеять — я тебя сам на телегу посажу да за Вежу вышлю. Поняла?

— Вы не имеете права...

— Я тут право! — звякнул староста, шагнув вплотную. От него разило дегтем и сырым звериным мохом. — И мать твою это знала. Спала да ела с нашего хлеба, а ты уехала в Пермь, книжек начиталась — и умной стала? Помяни мое слово, Варвара: уедешь отсюда живой — радоваться будешь. А останешься — пожалеешь, да поздно будет. Рот-то он у всех один. Зашить его — дело нехитрое.

Мирон развернулся и пошел к волостному правлению, тяжелея плечами и цепляя кнутом заборные колья.

Варвара осталась одна на перекрестке.

Она повернулась к окну избы Фёклы. За невымытым, покрытым узорами стеклом стояла сама Фёкла.

Женщина не плакала. Она прижала обе ладони к стеклу изнутри горницы и тихо, беззвучно билась лбом о раму.

Тук... тук... тук...

И на заиндевевшем стекле от её горячего дыхания проступали два слова, выведенные пальцем с внутренней стороны:

НЕ ИЩИ

А с реки Вежи, от чёрной, занесенной снегом бани Мокеевых, потянул ледяной, размашистый ветер. Он принес с собой звук, от которого у Варвары окончательно заглохло в груди.

Это был сухой, чистый звук протягиваемой через дерево нити.

Ш-ш-ш... хрусть.

Звук шел не с реки. Он шел прямо из её собственного саквояжа, стоящего на крыльце Фёклиного дома.

Глава 4. Женщины замолкают

У Никифора-кузнеца из трубы дым не шёл с самого полудня.

В Липовом Яру это было знамением почище затмения: горн у Никифора не гас тридцать лет подряд, от первого осеннего заморозка до схода льда на Веже. В кузнице всегда ухали мехи, тяжело и ритмично стучал о наковальню шестнадцатифутовый ручной молот, а в воздухе над прибрежным оврагом висел сухой, кислый чад палёного конского копыта, угля и дегтя.

Варвара подошла к кузнице, когда сизые, вымороженные сумерки только начинали набрякать над рекой.

Ворота низкого, рубленого из осинового коряжника строения были распахнуты настежь. Внутри чернела наковальня, похожая в темноте на притаившегося кабана, и остывающее корыто с закалочной водой. На его поверхности уже завязалась мутная, сероватая ледяная плёнка, в которой застряла угольная стружка. На каменном поду горна лежал пепел — холодный, мелкий, цвета слепой известки.

Сам Никифор стоял у устья печи. В промасленной кожаной безрукавке, вымазанной сажей, с голыми, обросшими густым рыжим волосом руками, он неподвижно сжимал в кулаке клещи с зажатым в них полосовым железом. Заготовка остыла, потемнела, потеряла малиновый сок и стала обычным плоским куском чугуна, но кузнец всё дергал и дергал её в холодных углях, точно силился высечь искру из мертвечины.

— Никифор, — окликнула его Варвара, не переступая порога.

Кузнец не обернулся. Его широкая, горбатая от многолетнейковки спина тяжело вздымалась.

— Иди в избу, Петровна, — просипел он, не поворачивая головы. Голос его, обычно зычный, прокуренный махоркой, прозвучал глухо, будто из пустого бочонка. — Марфа там. Ей карга какая-то горло перетянула. Я шесток выскреб, горн залил, а толку... Не ковкое дело. Не железное.

Варвара поднялась по трем высоким сосновым ступеням кузнецовой избы.

В горнице разило незамешанным овсяным пойлом, прелым ржаным опаром и кислотным духом сырого козьего пуха. На столе под лампадой «молния» стояла глиняная миска с остывшей лемешкой. Поверхность каши покрылась плотной заветренной коркой, и ровно посередине её застряла крупная, черная муха — не живая и не отравленная, а застывшая с растопыренными крылышками, словно её прихватило морозом прямо на лету.

Марфа сидела на крайчике лавки под божницей, прижавшись лопатками к сухим бревнам стены.

Ей было тридцать пять, баба дюжая, с широкой костью и тяжелыми румяными щеками, которая в обычные дни покрикивала на мужа так, что слышно было на другом берегу Вежи. Сейчас Марфа казалась уменьшившейся вдвое. Поверх шерстяного серого платка у неё была намотана суконная покрывка, а обе ладони с расплюснутыми, сбитыми о железо ногтями она судорожно прижимала к нижней челюсти.

— Сними руки, Марфа Василевна, — сказала Варвара, ставя саквояж на угол стола. Защёлка замка звякнула сухо и остро. — Дай я погляжу.

Марфа повела глазами. Глаза у неё были глубокие, белки налились сукровичной сеточкой, а зрачки расширились до самого края радужки, став совсем черными, как колодезная вода. Она тяжело, со свистом качнула головой.

— Сними, кому говорю. Я с утра у Фёклы была. Если вы тут всей деревней лихорадку из болота натянули — так её выпить надо, а не руками горло зажимать.

Варвара подошла ближе, расстёгивая манжеты строгого земского платья и засучивая рукава до локтей. Кожа у неё на руках была бледной, чистой, с запахом карболовой кислоты, резко выделявшимся на фоне душного печного чада.

Она насильно перехватила мозолистые запястья Марфы и отвела их от лица.

Марфа не вырывалась, но из её зажатого рта вырвался короткий, влажный щелчок — точно пузырь лопнул на болотной тине.

На нижней губе бабы, прямо по сухой, потрескавшейся на морозе коже, тянулась тонкая, красно-бурая линия. Она шла от правого уголка рта к самому подбородку, ровная, безупречная, словно её вычертили под линейку суровой нитью, пропитанной воском и запёкшейся кровью. Из мелких пор вдоль этой линии выступали крошечные, росяные капельки мутной сукровицы.

— Не болит? — тихо спросила Варвара, нащупывая левой рукой пульс на сонной артерии.

Пульс был ровный, чуть замедленный, с редкими, тяжелыми толчками. Температуры не было.

Марфа отрицательно качнула головой.

— Верещит? Жжёт?

Женщина закрыла глаза и закивала — часто-часто, со слезой.

— Открой рот. Сделай глубокий вдох.

Варвара достала из саквояжа никелированный шпатель и поднесла его к губам Марфы. Сталь была холодной. Едва лезвие коснулось края подбородка, Марфа судорожно дернулась, мышцы её челюстей стянуло спазмом, и рот раскрылся с сухим, хрустящим звуком — так трещит сухая берёста на печном розжиге.

Варвара отдала язык вниз, всматриваясь в глубину зева.

Глотка была чистой. Ни серых дифтеритных пленок, ни малинового отека скарлатины, ни разросшихся, гнойных миндалин. Слизистая выглядела бледной, суховатой, с тонкими, почти белыми ниточками вен. Воздушные пути были полностью открыты. Физиологически Марфа Рябова была совершенно способна говорить, кричать, петь колыбельные.

Слово осталось. Голоса не было.

— Скажи «а-а», — настойчиво нажимая шпателем на корень языка, проговорила Варвара. Голос её прозвучал строго, по-городскому, выбиваясь из тишины горницы. — Напряги связки, Марфа. Сделай усилие!

Марфа натужилась. Лицо её багровело, на висках набрякли темные вздутые жилы, из уголка рта пошла тонкая слюнная нить. Она пыталась вытолкнуть воздух сквозь смыкающуюся гортань.

И вдруг из глубины её чистого, здорового, не задетого болезнью горла вырвался звук.

Это не был человеческий голос. И не рев, и не стон.

Из Марфы вырвался длинный, металлический скрежет — точно ржавым напильником с размаху провели по внутренней стороне чугунной наковальни. Звук прошел по горнице, отозвавшись дребезжанием в лампаде и сухим треском в разошедшихся бревнах перекрытия.

Кхр-р-р-р...

Марфа с диким, звериным вскриком вырвала шпатель из рук Варвары. Инструмент отлетел под печь, звякнув о чугунок. Баба упала на лавку, уткнувшись лицом в суконную подушку, и забилась в бесшумном, сухом плаче. Ее широкая спина ходила ходуном, но из горла вылетал лишь ровный, стерильный выдох: *х-х-х... х-х-х...*

Варвара стояла над ней, чувствуя, как под ложечкой у неё оседает тяжелый, ледяной спазм. Руки её, привыкшие к земским пологим и резаным ранам уральских рабочих, мелко-вато задрожали.

В этот момент в дверях горницы появился Никифор. Он держал в руке упавший молот — держал за самое топорщице, тяжело наклонившись вперед.

— Что? — спросил кузнец, уставившись на Варвару пустыми, оловянными глазами. — Лекарство дашь? Или резать будешь?

— Горло чистое, Никифор, — выдохнула Варвара, заставляя себя выпрямить спину. — Болезни в плоти нет. Это нервное... от испуга или от угара.

Никифор коротко, безрадостно усмехнулся. Слюна на его нижней губе запеклась черной крупой.

— От угара, говоришь? Она с утра из избы не выходила. А перед тем, как замолчать, у заплота стояла. К реке смотрела. Там, говорит, девка в белом платке по перволедью идёт. Без сапог. По воде шкандыбает, а под ногами лёд даже не прогибается.

Варвара медленно повернулась к кузнецу.

— Какая девка?

— Известно какая, — кузнец бросил молот на пол. Тяжелое железо ударилось о сосновую половицу с глухим, окончательным звуком — *бум*. — Вяземских девка. Акулина. Которую мать твоя, Арина Мокеева, три года назад в старой бане зашивала, чтоб она про вывезенных детей на сходе не вздумала таякнуть.

В горнице мгновенно стало так тихо, что было слышно, как под печью, где лежала углистая труха, сухо и ритмично точит дерево сверчок.

Тук. Тук. Тук.

А затем из печного чела — из самой глубокой, черной сажки, куда не заглядывало солнце, — донесся звук.

Ш-ш-ш... хрусть.

Звук был настолько четким, что Варвара физически ощутила, как по её собственной нижней губе прошел сухой, ледяной сквозняк — словно кто-то с той стороны стены протянул длинную вощеную нить сквозь сухую древесину и с нажимом потянул за узел.

К третьему часу пополудни мороз затянул Липовый Яр глухим, сизым саваном.

Снег не падал — из низкого, тучного неба сеялась мелкая, как сухая соль, ледяная крупа. Она кружила над замерзшими огородами, укладывалась в колеи проезжей дороги и со звонким, сухим шелестом билась о бревенчатые стены изб.

Овражный колодец, где сходились три деревенские улицы, оброс сухими голубыми сосульками. Деревянный сруб, выложенный из моренного дуба ещё при деде Мирона, потемнел от влаги и покрылся толстым слоем кудрявого инея.

Здесь собрались бабы.

Их было десятка два. Они ждали у ворот вдовы Пелагеи, пряча руки в рукава овчинных шуб, зябко переступая ногами в дырявых чесаночных чесанках. Избы вокруг молчали, но над колодцем висел густой, тревожный шепоток — так шуршит сухой камыш у берега Вежи перед ледоставом.

Варвара подошла к колодцу, пробиваясь сквозь толпу. Бабы расступались неохотно, с глухим, враждебным ропотом, шарахаясь от её земского саквояжа, точно в нём лежала зараза.

На перевёрнутой дубовой кадке возле сруба сидела Пелагея — вдова с заворского края, поднявшая в голодный девяносто второй год трёх сирот. На руках у неё лежал суконный плат, но лицо было открыто.

Нижняя губа Пелагеи была перечеркнута такой же бурой, набрякшей строчкой, какая горела на Марфе. Но у Пелагеи шов пошёл дальше: красная линия огибала уголок рта, поднималась к щеке и терялась под ухом, превращая её щеку в подтянутую, перекошенную маску.

Рядом, прижавшись к колодезному вороту, стояла Аксинья — молодуха из бедняков, обвенчанная только этой осенью. В её русых косах ещё алела праздничная девичья лента, но

сама Акси́нья смотрела перед собой пустеющими, оловянными глазами, а её белые, тонкие пальцы судорожно впились в инеистые зубцы сруба.

— Куда прешь, Петровна? — выкрикнула из толпы Степанида, кривоглазая баба в поддёвке. — Нечего тебе тут делать! Мать твою беду накликала, а ты теперь сундучком своим замазывать пришла?

— Расступитесь, — твердо сказала Варвара, становясь между Пелагеей и Акси́ней. — Я фельдшер. У этих женщин нарушена нервная проводимость. Если вы будете их на морозе держать — у них лица навечно перекосит!

— Не нервная у них проводимость! — подала голос другая молодуха. — Они имя Акулины вслух вспомнили! Пелагея у колодца про детей оговаривалась — и на тебе! А Акси́нья только слово «прииск» произнесла — и губа треснула!

Варвара опустила на одно колено перед Пелагеей.

— Пила воду? — спросила она, беря вдову за ледяное, заскорузлое запястье. Пульс у Пелагеи пробивался редкими, напряженными толчками.

Пелагея кивнула.

— Глотать можешь?

Вдова подняла с земли деревянную кружку, набрала из ведра мутной, речной воды и попыталась сделать глоток.

Вода не пошла. На уровне гортани у Пелагеи что-то замкнуло, она с сухим, горьким хрипом выплюнула воду прямо на снег. Запёкшийся наст темно пожелтел, и на нём от выплюнутой воды выросли крошечные, игольчатые ледяные кристаллы.

— Вода какая? — Варвара наклонилась к самому её лицу. — Горькая? Солёная? Пахнет?

Пелагея подняла руку. Ее мозолистый, сухой палец вычертил в воздухе перед лицом Варвары ровную, прямую линию — от губ к подбородку.

А затем из её зажатого, перекошенного швом рта вырвался звук.

Это был голос Арины Мокеевой.

Чистый, певучий, старинный голос умершей матери Варвары, с характерным оканьем и глубоким грудным нажимом, который Варвара слышала всю свою жизнь.

— *Не ищи, Варварушка...* — произнёс этот голос из горла немой вдовы Пелагеи. — *Не ищи, доченька... В Веже вода глубокая, у неё дно каменное... Всех прикроет.*

Бабы вокруг охнули и шарахнулись назад. Степанида истоиво, трижды перекрестилась, оставив на суконном платке след от сажи.

Варвара замерла. В груди у неё опустилось что-то тяжелое, холодное, точно чугунная гиря. На мгновение ей показалось, что перед ней сидит не Пелагея, а сама мать, поднявшаяся из свежей кладбищенской глины и одетая в вдовьи обноски.

В этот момент со стороны волостного правления донесся тяжелый скрип подрезов.

По улице ехала телега Мирона Кочергина. Староста сидел впереди, развалившись на волчьей дохе, держа вожжи в мохнатых рукавицах. На поясе его звякала тяжелая, кованая связка ключей от волостного амбара и церкви. За телегой шли три мужика с дубинами — кузнец Никифоров брат, Федюшка-могильщик и угрюмый лесник Елисей Вяземский, брат пропавшей Акулины.

Телега остановилась у самого колодца, перегородив дорогу.

Мирон спрыгнул на снег. Его круглое, сытое лицо с седеющими бровями дышало морозом и крепким, неочищенным первачом. Маленькие, въедливые глаза старосты мазнули по Варваре с сухой, хозяйской злобой.

— Разходись, бабы! — громко, на весь переулочок гаркнул Мирон, играя тяжелым кнутовищем. — Чего встали? У вас в избах скотина непоена, а вы тут кликушество разводите! Федюшка, баб по домам разгони!

— Мирон Евсеевич, — Варвара поднялась с колен, становясь перед старостой. — Здесь пять больных женщин. У них одинаковые клинические проявления. Вы не имеете права...

— Я тут право! — перебил её Мирон, шагнув вплотную. От его дохи разило сырым звериным мохом, дегтем и застоявшимся табаком. — Я тут волость держал, когда ты ещё под стол пешком ходила и материнские травки в ступке толкла! У женщин ваших — дурь бабья от легкого хлеба да от поста. Поохают да перестанут!

— Это не дурь, — Варвара указала рукой на Аксиныю, которая всё так же билась лбом о колодезный сруб. — У них судорожный спазм мышц лица. На коже проступают физические повреждения. Посмотрите на губу Пелагеи!

Мирон даже не повернул головы к вдове.

— Порядок в Липовом Яру держать надо, Петровна, — тихо, но с нажимом проговорил староста, и в его голосе звякнула сухая, чиновничья сталь. — А порядок — это не когда всем подряд разрешено спрашивать. Порядок — это когда каждый свое место знает и язык за зубами держит. Мать твоя знала место. А ты нарушаешь.

В этот момент вода в колодезном ведре, стоявшем у ног Пелагеи, задвигалась.

Ветер не дул. Воздух оставался стерильно тихим, набрякшим морозной крупой. Но поверхность воды в ведре покрылась мелкой, частой рябью, расходившейся от центра к деревянным краям — ровными, быстрыми кругами.

Тук... тук... тук...

Словно снизу, из глубины шестисаженного колодезного сруба, кто-то ритмично постукивал по дну ведра костяшкой голого пальца.

Мирон замер. Глаза его на мгновение сузились.

На заиндевевшей, белой от инея стенке деревянного сруба колодца, прямо под резным навесом, проступило слово.

Иней не таял — он темнел, ставился мокрым и серым, точно его вычерчивал изнутри невидимый раскаленный гвоздь. Буквы проступали медленно, одна за другой, ровным, красивым девичьим почерком:

А К У Л И Н А

Ниже, с небольшим наклоном влево, вывелась вторая строка:

В А Р В А Р А

Бабы в толпе ахнули в один голос и побежали по улице, волоча по снегу подошлы и бросая ведра. Через десять секунд у колодца остались только Мирон, его мужики, немые женщины да Варвара.

Мирон подошел к срубу. Его мохнатая рукавица поднялась и с силой размазала иней по дубовым брёвнам. Серый налет сошел, оставив на дереве лишь мокрое, темное пятно.

— Дети балуются, — процедил Мирон через зубы. Голос его впервые звякнул сухой, скрываемой паникой. — Мальчишки угликом вывели.

— Дети не пишут по инею, который только что появился, Мирон Евсеевич, — выдохнула Варвара.

Староста повернулся к ней. В его глазах горел плотный, тяжелый страх человека, чья вековая крепость дала трещину.

— Пошла домой, Петровна, — сказал он тихим, змеиным шепотом. — Запрись в материнской избе и не вылезай до утра. А будешь ходить по деревне — я тебя сам в волостное правление запру. Поняла?

На третьем шаге к телеге из правого кармана Мироновой дохи выпал предмет.

Это был длинный, тяжелый железный ключ от засова старой бани — с узорчатой бородкой и круглым кольцом. Ключ упал на наст с сухим, стальным звуком и покатился по льду прямо к ногам Варвары.

На бородке ключа, между железными зубцами, застрял кусочек бурой, запёкшейся кожи и клок буро-красной сученой дратвы.

Мирон не заметил падения. Он вскочил на телегу, замахнулся кнутом, и лошадь рванула вперед, поднимая полозьями сухую ледяную пыль.

Варвара наклонилась и подняла ключ.

Металл пролежал на двадцатиградусном морозе десять минут. Но когда пальцы Варвары сжали его, ключ оказался **горячим** — точно его только что выхватили из кузнечного горна.

Сумерки упали на Липовый Яр окончательно, залепив окна изб темной, густой мокротой.

Варвара вернулась в избу кузнеца Никифора уже в полной темноте.

Горн в кузнице снова горел. Никифор разжёл его сам, без мехов, и пламя билось в темноте ворот диким, оранжевым языком, роняя на снег красные угольные искры. Но кузнец не ковал. Он сидел на наковальне, опустив голову на руки, и тяжело, со свистом дышал.

В горнице Марфа лежала на лавке под иконами. Никифор уложил её на суконный тулуп, накрыл чистым холщовым подзором.

На столе стояла лампочка «молния», но её фитиль пригасили до крошечного, синего огарочка. Свет едва разгонял мрак, оседая по углам густыми, тяжелыми тенями. Пахло воском, горьким дымом и тем самым плотным, тошнотворным запахом запёкшейся сукровицы, который Варвара впервые почувствовала в материнском сундуке.

Марфа не спала.

Её глаза в синем свете лампы казались двумя глубокими провалами. Линия на нижней губе разошлась: теперь это были два параллельных, глубоких стежка, тянувшихся через подбородок к самой шее. Кожа вокруг них набрякла, посинела, став похожей на ткань, которую судорожно, намертво стянули суровой нитью.

Варвара опустила на ступеньку лавки, поставила саквояж.

— Марфа, — тихо проговорила она, касаясь её горячего виска. — Я принесла карболовый раствор. Я зачищу края. Тебе станет легче.

Марфа медленно, словно преодолевая нечеловеческую тяжесть в шее, повернула голову. Ее пальцы, лежавшие на холстине, судорожно сжались, выпростав из-под ногтей серое лубочное волокно.

Она подняла правую руку и указала пальцем на белёную известкой стену возле печи.

Варвара перевела взгляд.

На чистой, свежесмытой стенке печного подтопка, прямо под резной деревянной полочкой для спичек, проступало пятно.

Оно не было нарисовано. Оно **прорастало** сквозь известку изнутри — медленно, буро-красными, налитыми сукровицей жилами, словно под белой штукатуркой прорвало скрытый сосуд.

Жилы сплетались, вычерчивая на стене буквы.

Варвара поднялась со скамьи. Шаги её были бесшумны — вымороженные сосновые доски пола застыли намертво.

Первая буква вывелась крутой, размашистой:

А

За ней, захлёбываясь сукровичными потеками, подтянулись остальные:

КУЛИНА

Буквы горели на известке темно-бурым, запёкшимся цветом — точно их вывели варёной свёклой, смешанной с печным дегтем. От стены потянуло резким, щекочущим ноздри запахом мокрой глины, прелого конского волоса и материнского зверобоя.

Никифор вошел из сеней, держа в руке тяжелую дубовую задвижку. Увидев надпись, кузнец замер на пороге, его рот раскрылся, но из груди вырвалось лишь глухое, мышинное сипение.

— Петровна... — прошептал он, шагав назад. — Это что ж... Это за нами?
Варвара не ответила.

Она смотрела, как под словом «АКУЛИНА», на два вершка ниже, известка начала вспучиваться мелкими, синеватыми пузырями. Пузыри лопались с тихим, влажным щелканьем, роняя на крашенный пол красные капли.

Из лопнувших пузырей выпросталась вторая строка.

Буквы выводились быстрее, судорожнее, словно тот, кто писал там, за стеной, торопился закончить до рассвета:

ВАРВАРА

А под именем Варвары, словно последний, окончательный приговор, проступило третье имя — выведенное мелким, закрученным материнским почерком:

АРИНА

Три имени. Три жертвы. Или три виновных.

Марфа на лавке резко выгнулась дугой. Ее грудная клетка вздымалась, пальцы впились в тулуп с такой силой, что сукно треснуло по шву. Из её зажатого, стянутого красными нитями рта вырвался чистый, звонкий, невинный девичий голос семнадцатилетней Акулины Вяземской:

— *Не меня...* — пропел голос легко и ласково, раскатываясь по темной горнице. — *Не меня зашили... Всех зашьют. Ниточки на всех хватит.*

Лампада «молния» на столе вспыхнула ярким, сухим синим пламенем. Силикатное стекло лопнуло со слитным хрустом, и изба погрузилась в полную, непроглядную тьму.

А из-за печки, из всех углов горницы, из-под пола и из-за чердачного лаза одновременно донесся сухой, ритмичный, удушающий звук.

Ш-ш-ш... хрусть. Ш-ш-ш... хрусть. Ш-ш-ш... хрусть.

Звук шел со всех сторон. Вся деревня Липовый Яр в этот предрассветный час затаилась, слушая, как через её бревенчатые ребра, сквозь запертые двери и закрытые ставни неумолимо протаживается невидимая бурая нить.

Глава 5. Дорога наружу

В горнице материнского дома пахло вымороженной пижмой, застоявшейся сажей и прокисшим восковым наплывом.

Варвара стояла перед дубовым столом, выкладывая из саквояжа медицинский инструмент. Стальные бранши кишечных зажимов, длинный никелированный скальпель, стеклянные градуированные цилиндры и банк с карболовой водой легла на домотканую скатерть ровным, холодным рядом. Сталь звякала суше, чем олово, и каждый этот звук был для Варвары якорем — доказательством того, что за пределами Липового Яра существует измеримый, понятный мир с земскими больницами, Пермской губернской управой, анатомическими атласами и аптекарскими весами.

Но здесь, у печного чела, где разливной холод тянул прямо из подпола, мир распадался на волокна.

На лавке у божницы лежал закрытый материнский сундучок. На его кованой крышке осталась глубокая, белая царапина от соскользнувшего вчера скальпеля.

Варвара подошла к печи, достала из печурки тяжелую кружку Арины — толстостенную, выточенную из березового капа, из которой мать тридцать лет пила по утрам настои от одышки. Кружка была пуста, на выскобленном дереве дна запеклась темная, сухая гуща от зверобойного отвара.

Варвара поднесла её к свету чадающей лампы.

На самом дне каповой кружки, прямо поверх засохшей травы, лежал ровный, круглый стежок.

Нить была бурой, волокнистой, пропитанной воском и сукровицей. Она проходила сквозь сухую древесину дна насквозь — два крошечных аккуратных отверстия, будто пробитых костяным шилом, и завязана снизу тугим, многослойным узлом.

Варвара перевернула кружку. Наружная сторона доньшка была гладкой, нетронутой гнилью или трещиной. Нить прорастала сквозь кап так, словно дерево росло вокруг неё десятилетиями.

— Нет, — выдохнула Варвара. Голос её прозвучал сухо, с лёгким щелчком в гортани. — Хватит.

Она не стала поднимать кружку. Вынула из замка саквояжа тяжелый медицинский шприц в латунном футляре, перевязала суконную тальму тугим ремнем, натянула поверх шерстяного платья глубокий дорожный капор и застёгнула кожаные земские ботинки на все двенадцать медных крючков.

Здесь нельзя было оставаться. В Липовом Яру началась не болезнь — здесь разрасталось массовое помешательство, подпираемое старым, нераскрытым убийством и выжившим из ума старостой. Нужно было дойти до тракта, перевалить через Вежу и добраться до уездного станового пристава в Чердыни. Пусть присылают судебного следователя, уездного врача и роту конных урядников. Пусть вскрывают полы в старой бане, роют суглинок на яру, переписывают метрические книги.

Варвара взяла саквояж. Защёлка замка щелкнула с коротким стальным сухим звуком.

Она прошла через сени. Во дворе мороз за ночь сковал грязь у колодца жесткими, искрящимися зубцами. На крыльце стоял Никифор-кузнец. Он сидел на нижней ступени, подперев рыжебородую голову тяжелыми, черными от сажи кулаками. Его кожаный фартук заледенел, встал колом на коленях.

— Лошадь не дам, Петровна, — не поднимая глаз, просипел кузнец. Его голос напоминал движение хряща по кости. — Мирон велел меринков со двора не выводить. Сказал, уездные сюда не поедут. Наледь на Веже тонкая, полозья завязнут.

— Я пешком дойду до тракторной станции, — ответила Варвара, переступая через его застывшие сапоги. — Шесть вёрст по насту. К полудню буду в Заречье.

Никифор качнул головой. Из его рта вырвался густой, серый клочок пара, который тут же осел игольчатым инеем на овчинном воротнике.

— Не дойдёшь.

— Это почему?

— А ты на ноги свои погляди.

Варвара остановилась на первой ступени крыльца и опустила взгляд.

На чистом, только что выпавшем ночном снегу вокруг её ботинок не было глубоких, тяжелых отпечатков каблуков. Её ноги стояли на самой верхушке хрупкого наста, даже не проламывая ледяную корочку. словно она весила не больше сухой полярной метелки.

А из-под нижней ступени крыльца — из щели между прогнившим венцом и суглинком — свисал свежий, влажный конец бурой дратвы.

Варвара шагнула через плетень, не оглядываясь.

Мать не отпускала её. Арина Мокеева держала дочь за подол даже из мертвой кладбищенской глины, точно боясь, что в Чердыни уездный лекарь узнает то, о чём тридцать лет молчали печные чела Липового Яра.

Выезд из Липового Яра обозначался старым, потемневшим от осенних дождей обшинным крестом.

Крест стоял на пороговом пространстве — между крайним заплотом вдовы Пелагеи и чернеющей опушкой соснового бора. На перекладине креста висел истлевший, посконный рушник, связывавший перекрестье: его концы заскорузли от мороза, превратившись в две серые, костяные сосульки.

За крестом начинался вымороженный уездный тракт. Дорога уходила вниз, к замерзшей реке Веже, прорезанная глубокими, намертво застывшими колеями от осенних подвод.

Варвара шла быстро. Пола её тальмы захлестывал ледяной ветер, несший с поля сухую, игольчатую крупу. Воздух пах озоном, вымороженной хвоей и близким, глухим ледоставом.

В десяти шагах от пограничного креста Варвара почувствовала, как под ее ложечкой сводит ледяным, тяжелым узлом.

Это не была мышечная боль или одышка от быстрой ходьбы.

Внутри гортани — прямо на уровне щитовидного хряща — возникло физическое ощущение присутствия инородного тела. Будто кто-то ввел сквозь мягкие ткани глотки жесткий, промасленный шнур и медленно, с потягиванием, начал выбирать слабинку.

Варвара сделала еще шаг.

Ее земские ботинки переступили через невидимую черту, где кончался деревенский суглинок и начиналась трактовая гать.

Хр-р-р...

Варвара замерла, выронив саквояж.

Воздух перестал входить в легкие. Грудина натянулась, точно деревянный обруч, диафрагма застыла в болезненном, судорожном спазме. Варвара судорожно захватила ртом морозный воздух, но гортань не раскрылась. Глотка смыкалась, пережатая изнутри сухим, режущим давлением.

Она прижала ладони к шее. Кожа под ее fingers была горячей, лихорадочной, сонная артерия билась часто и мелко, как птица в тенетах.

Но на нижней губе — прямо по той самой линии, где у Марфы и Пелагеи выступала сукровица, — вспыхнула острая, режущая боль.

Варвара поднесла пальцы к губам.

Кожа разошлась. Из тонкой, ровной трещины проступила капля густой, почти черной крови. И сквозь эту трещину — изнутри, из мышечного слоя нижней губы — выпростался крошечный, буро-красный кончик волокна.

Оно не росло. Оно **протягивалось**.

Кто-то сидел там, позади нее — у старой бани или на деревенском погосте — и держал в руках другой конец нити. Каждая верста, отделявшая Варвару от Липового Яра, натягивала эту нить до звона. Если она сделает еще три шага вперед к Чердыни — нить просто рассечет ее губу и нижнюю челюсть надудочно, до самой надкостницы.

Варвара упала на колени перед обшинным крестом.

Снег под ее коленями был сухим, не подтаивал. Саквояж лежал рядом на боку; из распахнувшейся щели вывалился стеклянный пузырек с карболовой кислотой и со звоном разбился о промёрзший камень подножия. Острый, химический запах ректификата мгновенно выжег ноздри, но даже он не смог перебить плотный, удушливый дух прелого конского волоса и горелой пижмы.

За ее спиной, в колеях заброшенной дороги, что-то задвигалось.

Варвара попыталась обернуться, но шея онемела, потеряв подвижность. Боковым зрением она увидела, как по белому, нетронутому насту вдоль плетня движется тень.

У тени не было шапки и шубы. Это был узкий, длинный силуэт девки в размотанном свадебном платке, косы которой волочились по снегу, оставляя за собой две тонкие, серые борозды.

Тень остановилась у самого креста.

Варвара слышала ее дыхание. Это было не дыхание живого человека — так шуршит сухой овёс, когда его пересыпают из деревянного совка в суконный мешок.

А затем из-под земли — из-под саженного слоя вымороженного суглинка у подножия креста — вырвался шепот.

Это не был голос матери. Это не был голос Фёклы.

Это был чистый, прозрачный, как речной лёд, девичий шепоток:

— *Куда ж ты, Варварушка?.. На кого деревню бросаешь?.. Невеста ещё не отпета...*

Имена не названы...

Варвара поползла назад.

Она не поднялась на ноги — судорожный спазм перехватил мышцы бедер и икр, превратив их в деревянные колоды. Она пятилась на коленях и локтях, волоча за собой тяжелый саквояж, не сводя глаз с бурой нити, выпроставшейся из ее собственной губы.

Каждый вершок пути назад — к деревне, к деревянным срубам Липового Яра — ослаблял натяжение.

Шнур в гортани обмяк. Воздух с диким, воющим свистом ворвался в спазмированные легкие, обжигая бронхи ледяной моросью. Варвара закашлялась, уткнувшись лицом в сухой снег у придорожного столба. На белой крупе под ее губами осталась ровная, крестообразная капля запёкшейся крови.

Нить на губе не исчезла. Но она перестала резать. Она висела из уголка рта тонкой, бурой паутинкой, чуть качаясь на ветру.

Варвара поднялась, упершись ладонями в обшинный столб.

Ее руки дрожали мелкой, неудержимой тряской — той самой физиологической дрожью, какая бывает у тифозных больных в период кризиса. Но сознание ее, очищенное страхом, стало болезненно, прозрачно чётким.

Бегство было невозможно.

Аномалия Липового Яра не была местным поверьем или болезнью, которую можно было оставить за кордоном. Проклятие имело точную, хирургическую механику. Оно удерживало

каждого, кто был связан с первыми детьми и старой баней, не пуская за пределы круга, пока не будет выплачен долг.

Варвара провела пальцем по бурой нити.

Ткань под ногтем казалась литой, точно отлитой из застывшего воска. Натяжение исчезло, но узел внутри ее собственной плоти остался.

— Акулина... — шепотом произнесла Варвара, пробуя голос.

Слово вышло сухим, но полным. Гортань отозвалась без скрежета.

— Акулина Вяземская...

Едва она произнесла полное имя, бурый кончик нити на губе едва заметно втянулся назад, под кожу, оставив на поверхности лишь росную капельку розовой сукровицы. Натяжение в гортани спало окончательно.

Варвара тяжело выдохнула, подбирая вывалившиеся из саквояжа медицинские инструменты. Латунный футляр шприца, сломанный ланцетонос, уцелевший пузырек с йодистым раствором.

Она повернулась лицом к Липовому Яру.

Деревня лежала перед ней в сизом, заиндевавшем овраге, похожая на кучу старых, вымороженных костей. Над избами не было видно живого, синего дыма — сухой мороз прижимал гарь к самой земле, отчего над крышами висела мутная, серая плашка.

Но далеко на краю Яра — у самого уреза замерзшей реки Вежи, где среди ивняка чернела крыша заброшенной бани Мокеевых — что-то изменилось.

Над дырявой, просевшей застрехой бани поднимался тонкий, ровный ручеек дыма.

Не сизого, печного дыма от осиновых дров.

Дым был густым, буро-черным, пахнувшим горелым конским волосом, прелым сукном и ладанной смолой. Он шёл из выбитого оконца парной, уходя прямо в беззвёздное, оловянное небо.

Варвара сжала ручку саквояжа.

Там, в старой бане, кто-то разжёт огонь. Не для тепла. Для обряда.

И из-за соснового бора, цепляясь за верхушки деревьев, донесся слитный, удушающий звук, от которого зазвенели оставшиеся в ее саквояже стеклянные флаконы:

Ш-ш-ш... хрусть.Ш-ш-ш... хрусть.

Варвара перехватила саквояж удобнее и пошла назад к деревне — прямо к чернеющей на берегу бане.

Глава 6. Старая баня

Сухой, чадный дым над речным оврагом растворился в сумерках так же быстро, как и возник, оставив в вымороженном воздухе лишь горький привкус гари, жжёной бересты и парного козьего пуха.

Варвара спускалась по глинистому откосу Яра, с трудом удерживаясь на скользких, обледеневших корнях прибрежного ивняка. Река Вежа внизу чернела узкой, еще не закованной полностью промоиной, от которой поднимался плотный, сизый пар. Вдоль уреза воды, прижавшись крышей к обрыву, стояла заброшенная баня Мокеевых.

Строение было старым, срубленным еще дедом Варвары из толстого, комель к комлю, черного осинника. За тридцать лет осина въелась в суглинок, потемнела до смоляного блеска, просела на левый угол и обросла по нижним венцам кудрявым, седым лишайником.

Варвара подошла к предбаннику. На ее ладони, сквозь плотную замшу перчатки, жаром отдавал тяжелый железный ключ с узорчатой бородкой — тот самый, что выпал накануне из кармана Мироновой дохи у колодца.

Дверь в предбанник была низкой, сбитой из двух плах, с навесным скобяным замком и кованой литой задвижкой.

Варвара вставила ключ в скважину. Нагретый наст вокруг замочной скважины растаял, оставив на буром железе круглый влажный след. Ключ повернулся тяжело, с сухим, скрипучим хрустом, бороздка встала на место, но дверь не подалась.

Варвара навалилась плечом. Дерево отозвалось глухим, мертвым гулом, но засов внутри лежал намертво.

Дверь не была заперта снаружи. Её удерживали изнутри.

Изнутри предбанника, заложив дубовый брус в глубокие железные скобы, заперлись так, словно спасались от лютого зверя или от глубокой воды.

Варвара замерла, прижавшись щекой к обледенелому косяку.

Из-за тонкой осиновой плахи не доносилось ни движения, ни человеческого дыхания. Лишь тишина — плотная, тяжелая, в которой с зазором в четыре секунды капала вода.

Кап...

Пауза.

Кап...

Варвара знала эту баню с детства. В ней никогда не было внутреннего источника или капли — подпол выкладывали сухим булыжником, а воду таскали ведрами из Вежи.

Она опустила саквояж на снег, нащупала на поясе небольшой анатомический скальпель и вставила узкое стальное лезвие в щель между дверным полотном и косяком. Полотно гуляло на полвершка. Лезвие уперлось не в дубовый брус — оно вошло в мягкое, упругое и влажное, словно за дверью к самой щели прижимали суконную овчинную поддёвку.

И в тот же миг из глубины промёрзшей парной — прямо с того бока, где стояла каменка, — раздался звук.

Тук.

Пауза.

Тук.

Тук.

Три коротких, костяных удара в сухую осиновую плаху. С той стороны двери. На уровне человеческого локтя.

Варвара резко отдернула руку. Скальпель с тонким синим звоном выскочил из щели, упал на наст и мгновенно ушел в сухую ледяную крупу по самую рукоятку.

Обходной путь был один.

С задней стороны, обращенной к черной промоине Вежи, нижний венец сруба прогнул до самого мха. Год назад половодье подмыло суглинок, бревна разошлись, и образовался узкий, затянутый паутиной и инеем лаз, ведущий прямо под полук.

Варвара скинула суконную тальму, оставшись в одном коричневом платье и шерстяном душевнике. Наклонилась, встала на колени прямо в сухую, колкую ледяную пыль и просунула сначала саквояж, а затем пролезла сама, ободрав плечо об острый сосновый заноз.

Внутри бани было не просто холодно — здесь стоял стерильный, вымороженный погребной застой.

Воздух пах не парным духом или березовым веником. На языке оседал плотный, горький привкус сырой сажи, старой известки и того самого карболового настоя, которым Арина Мокеева обмывала умерших рожениц перед укладкой в домовину.

Варвара поднялась с колен, вытирая испачканный в саже фартук.

Каменка стояла разрушенной. Валуны, обгоревшие докрасна в былые годы, рассыпались по полу мелким, серым щебнем. На широком лавочном полке, выскобленном когда-то до белизны, лежал густой слой седого инея.

Но иней на полке был **неровным**.

Посредине лавки тянулась широкая, гладкая полоса, где иней был соскоблен или вытерт сукном. Форма этой полосы повторяла силуэт лежащего на боку человека — с согнутыми в коленях ногами и прижатыми к груди локтями. На деревянной поверхности полка, там, где должно было находиться лицо лежащего, остался глубокий, темный след от человеческого дыхания — круглый провал в инее, по краям которого застыли игольчатые ледяные кристаллы.

Варвара подошла ближе, держа перед собой зажженную спичку.

Маленький желтый огонек дрожал, тень от ее руки металась по бревенчатой стене, превращая сучки в черные, неподвижные зрачки.

Под лавкой, в сухой угольной трухе, что-то блеснуло.

Варвара опустила на корточки и выпростала из-под мокрого бревна предмет.

Это был кусок свадебной ленты.

Посконная, широкая лента алого цвета, какими в Липовом Яру невесты заплетали косы перед венцом. Лента была измята, пропитана речным илом и разрезана посередине слитным, ровным ударом тяжелого ножа. На ее конце завязался тугой узел, сквозь который аккуратными, мелкими стежками проходила та самая бурая сученая нить.

Варвара поднесла ленту к самому лицу.

От ткани пахло не духовной водой и не сундучным зверобоем. От ленты тянуло свежим, незажившим запахом человеческой сукровицы.

— Акулина... — выдохнула Варвара.

Спичка в ее пальцах дернулась и погасла, обожгла подушечку большого пальца. Баня погрузилась в сизую, предрассветную полутьму, проникавшую сквозь выбитое оконце парной.

В этой полутьме Варвара увидела стену.

На белёной стене у каменки, где тридцать лет висели пучки сушёной пижмы и полыни, темнел узор.

Это была не плесень. Сквозь известку изнутри бревна проступала красная нить. Она не висела на гвоздях — она **выходила из древесины**, делала ровный стежок в три вершка и снова уходила под кору, образуя на стене гигантские, корявые буквы.

Варвара шагнула к стене, чувствуя, как у нее онемели кончики пальцев на руках.

Первая буква была выведена с глубоким материнским наклоном:

А

За ней шли остальные:

Р И Н А

Варвара прижала ладонь к стене прямо поверх выведенного имени.

Известка под её пальцами оказалась **тёплой**. Не раскаленной, как ключ Мирона, а живой, имеющей температуру человеческого тела — тридцать шесть и шесть по Цельсию. Сухая штукатурка едва заметно пульсировала, точно за осиновым бревном билась глубокая, скрытая вена.

Варвара перевела взгляд вниз, на крашеный пол парной.

Под лавкой, где лежала углистая труха, тянулась дорожка.

Это не были следы сапог. На разошедшихся сосновых половицах остались отпечатки босых, узких девичьих ног. Отпечатки вели не к прогнившему лазу у реки, откуда пришла Варвара. Они шли от полка прямо к запертой двери предбанника.

Каждый отпечаток был глубок, выжжен в дереве до черной обугленной корки, а между шагами на полу запеклись мелкие, круглые капли бурой сукровицы.

У самой двери следы останавливались.

Там, где дубовый засов входил в железные скобы, деревянная плаха двери была изъедена глубокими, длинными царапинами.

Это были не следы топора или железного лома.

Дверь драли **человеческими ногтями**.

Глубокие, параллельные борозды уходили в сухую осину на полвершка. На дне каждой борозды застряли мелкие обломки посиневших роговых пластин и сухие, серые нити человеческой кожи.

Акулина Вяземская не умерла во время обряда.

Её не вынесли из бани мертвой до рассвета, как сказывал Мирон на сходе. Её заперли здесь — живую, с зашитым, немимым ртом, с красной нитью в губах — и оставили на всю ночь в промёрзшей парной у гаснущей каменки.

Она билась о дверь. Она драла осиновые плахи ногтями, пока не сорвала их до самого мяса, а за дверью — в сенях или на крыльце — стояли люди.

И среди этих людей была Арина Мокеева.

Варвара отступила на шаг, больно ударившись затылком об угол разрушенной каменки.

В горле у нее встал ледяной, тошнотворный комок. Все её медицинские аккуратные теории, все размышления о «невротическом спазме» и «массовой истерии» рассыпались в пыль перед этой осиновой дверью, хранящей следы сорванных ногтей семнадцатилетней девки.

— Мама... — прошептала Варвара в пустую, сизую тьму бани. — Зачем?..

Баня не ответила.

Но из-за стены — из самой толщи осинового бревна, прямо над выведенным кровью именем Арины — снова донесся звук.

Это был не стук.

Это был сухой, слитный, нарастающий звук прохождения натянутой нити сквозь сухую древесину и человеческую плоть.

Ш-ш-ш...

Звук шел прямо из-под лавки, где лежала свадебная лента.

Хрусть.

Лавочная доска под ногами Варвары треснула пополам.

Из щели выпростался бурый, волокнистый узел. Он натянулся, звякнул, как гитарная струна, и ушел вверх — к потолку, пробивая известку и увлекая за собой сухую, пахнущую дегтем стружку.

А со стороны реки Вежи, сквозь выбитое оконце парной, донесся чистый, невинный, девичий смех.

Так смеются невесты перед венчанием, когда их ведут под венец в белом платке и красных сапожках.

Варвара схватила саквояж, бросилась к прогнившему лазу под полком и выскочила на берег Вежи, задыхаясь на морозном, режущем ветру.

За её спиной старая баня Моковых снова затихла. Дым над её крышей погас.

Но в руке Варвары — прямо в сжатом кулаке, где она держала свадебную ленту Акулины, — лежал сухой, костяной пенёк **переломленной материнской иглы.**

Глава 7. Человек, который не слышит

К пятому дню вымороженная сушь над Липовым Яром сменилась глухим, тяжелым падением серого снега. Крупа больше не сеялась — с невысокого, набрякшего брюха неба валились широкие, мокрые хлопья. Они залепляли глаза, оседали на шерстяной тальме Варвары серыми влажными комьями и с тихим, непрерывным шипением таяли на горячей жести её медицинского саквояжа.

Дом Вяземских стоял на самом заворском краю деревни, у начала старого волока, где сосновый бор подступал к огородам почти вплотную.

Это было двухэтажное, срубленное из тяжелого лиственничника дворовое копьё. Было видно, что когда-то Елисеев отец держал здешнюю сплавную пристань и скупку леса: ворота вели в широкий, мощёный плахами крытый двор, заплоты стояли в человеческий рост, а над крыльцом ещё сохранялась резная, хотя и потемневшая от сырости подзора. Но теперь дом казался мёртвым. Все четыре окна нижнего венца были наглухо забиты крест-накрест сосновыми горбылями, за которыми темнела плотная, пропитанная смолой пакля.

Варвара поднялась по широким, крытым ледяной коркой ступеням и постучала.

Щеколда не отозвалась. Лишь сквозь щель над порогом тянуло густым, тяжелым духом застоявшегося капустного рассола, сырого конского пуха и прелой, вылежанной в погребе соломы.

Варвара ударила еще раз — тяжелым медным уголком саквояжа.

За дверью, глубоко в сенях, тяжело и неохотно шагнули. Сапог не скреб по сосновым доскам — его волокни, словно подошва была вырезана из тяжелого, размокшего в воде дуба.

Дверь отворилась на вершок.

В щели показалось лицо Елисея Вяземского. Ему было около тридцати, но в глубоких, забитых серым углем складках возле носа уже оседала старушечья мягкость. Русые, редкие волосы падали на лбом нечёсанными пасмами, белки глаз пожелтели, а зрачки были сужены в два крошечных, оловянных укола, несмотря на сумерки. Он был в одной посконной пестрядной рубахе с расстёгнутым воротом, из-под которого видна была бледная, незагорелая шея с редкими красными прыщами.

— Чего тебе, Петровна? — просипел он. Голос его был плоским, сухим, словно в гортани у него просыпали горсть сухой овсяной шелухи. — Нет у меня больных. И баб нет.

— Я к тебе, Елисей, — Варвара ладонью уперлась в осиновый косяк, не давая ему захлопнуть плаху. Кожа у нее на пальцах горела от мороза. — Пропусти.

— Нечего в избе делать. Снег во двор неси.

— Я о свадебной ленте спросить пришла.

Елисей замер. Пальцы его, вцепленные в край осиновой двери, судорожно побелели на суставах, ногти сбитые, чёрные от грязи, со звонким, сухим щелчком впились в древесину. Он не ответил сразу. В глубине темных, незамещенных сеней тихо и глубоко заныла от сквозняка незакрытая отдушина: *у-у-у-у...*

— Нет у меня никаких лент, — сказал он наконец. Фраза выскочила у него слишком быстро, ровно, словно он заучивал её всю прошлую ночь. — Акулина осенью ещё ушла. После Покрова. Собрала узлы, ленты забрала да и подалась к дядке в Усолье. На подводе уехала. Я её не удерживал. Бабья воля — она как вода в Веже, куда поклонится, туда и течёт.

Варвара смотрела прямо в его оловянные зрачки.

— На подводе, говоришь?

— На подводе.

— Через Вежу? по перволедью?

— Через Вежу.

Варвара сделала шаг вперед, плечом отжимая тяжелую плаху. Елисей отступил — не от силы, а словно в нём надломилась какая-то внутренняя, натянутая до предела жила.

Горница была тёмной, глубокой. Единственная лампада у божницы не горела, фитиль утонул в застывшем, пожелтевшем сале. На столе стояла неочищенная деревянная миска с остатками холодной лемешки, поверх которой плавала серая плёнка. В углу, под заколоченным окном, на суконном тулупе лежали Елисеевы сапоги — сухие, покрытые ровным слоем лесной пыли, с чистыми, нетронутыми дегтем головками.

Человек, который уезжает на подводе через Вежу, не оставляет свои свадебные сапоги сохнуть под закрытыми ставнями.

Варвара поставила саквояж на край лавки.

— Ты лжёшь, Елисей.

Елисей встал у печи, прижавшись лопатками к холодной извешке. Руки он судорожно спрятал в широкие рукава пестрядной рубахи, но Варвара успела заметить: тыльная сторона его левой ладони была сплошь испещрена мелкими, короткими царапинами — ровными, параллельными, словно по коже провели острыми, детскими ногтями.

— Сказано тебе — ушла, — повторил он, избегая смотреть на дверь, вешавшую в закрытую боковую светлицу. — Мирон Евсеевич тоже знает. Он сам подводу наряжал. Спроси у него, если мне ведомости нет.

— Я была в старой бане, — тихо произнесла Варвара.

В горнице мгновенно стало так тихо, что было слышно, как в перекрытии потолка, над самым накатником, медленно и ритмично точит сухую сосну жук-древоточец.

Скрып... скрып... скрып.

Елисей не шелохнулся. Лишь его нижняя губа едва заметно дернулась влево, оттягивая угол рта к подбородку.

А затем из боковой светлицы — той самой, куда вела низкая, забранная железным засовом дубовая дверь, — донесся звук.

Это был не шаг. И не стук.

Внутри закрытой, заколоченной комнаты, где три месяца никто не жил, тяжело и отчетливо прогнулась разошедшаяся сосновая половица.

Кхр-р-р...

И тут же опустилась назад.

Варвара сделала шаг к запертой двери светлицы.

— Не заходи! — рявкнул Елисей.

Его голос сорвался на дикий, петушинный фальцет. Он выскочил из-за печного чела, наотмашь перехватывая Варвару за локоть. Его пальцы — сухие, горячие, с вьевшимся под ногти запахом прелого хлеба — впились в шерстяную ткань её платья с такой силой, что затрещали нити шва.

— Не смей туды ходить! Там покойница лежала! Отец там покойный три недели на столе сох, пока земли не дали! Там лихорадка!

Варвара не уклонилась. Она поворачивала к нему лицо — спокойное, бледное, со строгими, прозрачными глазами земского фельдшера, привыкшего к буйным пьяницам и роженицам в бреду.

— Пусти, Елисей.

— Не пущу!

— Пусти, а то я сейчас на улицу выйду и кликну Никифора с Федюшкой. И скажу, что ты в светлице Акулинино тело прячешь.

Елисей отшатнулся, словно его ударили по лицу мокрой овчинной рукавицей. Пальцы его разжались. Он попятился к печке, хватаясь за выскобленный шесток, и его грудная клетка под пестрядью начала ходить часто и дробно, как у загнанного в болото селезня.

Варвара подошла к светлице.

Засов был простым — тяжелый железный клин, вставленный в кованую скобу. Металл был холоден, покрыт мелкой, игольчатой сыпью ржавчины. Варвара поддела клин пальцами, с силой потянула вверх.

Засов вышел со слитным, сухим визгом: *чл-л-ук*.

Дверь отворилась тяжело, задевая за опустившийся сосновый порог.

Из светлицы вырвался густой, неподвижный пласт воздуха.

От него не пахло лихорадкой или лечебными травами. Оттуда разило мокрым речным илом, прелым болотным мхом, горелой сученой дратвой и глубоким, тошнотворным запахом застоявшейся, сукровичной гнили.

Светлица была пуста.

На окнах висели тяжелые, серые холстины. Посреди горницы стоял голый дубовый стол, на котором остался светлый, не запыленный прямоугольник — след от стоявшего здесь когда-то гроба. В углу под божницей стоял сундук с сорванным замком.

Но звук шёл не от стола.

Варвара опустила взгляд на пол. Половицы здесь были широкими, трехвершковыми, вытесанными из цельных сосновых кряжей. В левом углу, у самой печной разделки, одна из плах лежала неровно: её край поднялся над остальным полом на вершок, а в щели между бревнами чернела глубокая пустота подполья.

Варвара опустилась на колени, не обращая внимания на сосновые занозы, впившиеся в ткань юбки.

Под половицей, в сухом подпольном суглинке, лежало свернутое.

Это был не узел и не перичина. Под досками лежало свадебное платье Акулины Вяземской.

Широкий подол из белого узорчатого кумача, вышитый по рукавам алой гарусной нитью, был измят, сломан и скручен в тяжелый, тугой жгут. Ткань потемнела: от подола к вороту шли широкие, посконные потеки черного, высохшего ила и запекшейся, сукровичной бурости.

Но главное было не это.

Вся грудь платья — от самого выреза до пояса — была **защита**.

Кто-то шёл по белой кумачовой ткани тяжелыми, косыми стежками, используя вместо нити густую, пропитанную воском и дегтем дратву. Стежки были частыми, неровными, словно тот, кто держал иглу, торопился или действовал в полной темноте. Волокна дратвы пробивали тонкий узорчатый ситец насквозь, стягивая вышивку в уродливый, сморщенный рубец, похожий на незажившую рану на человеческом теле.

Варвара протянула руку и коснулась ткани.

Кумач под ее пальцами был **мокрватым**.

Прошло три месяца с Покрова. В подполье стоял двадцатиградусный мороз. Но свадебное платье Акулины не замерзло — оно оставалось сырым, теплым и тяжелым, словно его только что вытащили из затона Вежи и спрятали под половицы.

Варвара подняла голову.

Елисей стоял в дверях светлицы, прижавшись лбом к косяку. Из его раскрытого рта по подбородку текла тонкая, прозрачная слюнная нить, а обе ладони он судорожно, до хруста в суставах, прижимал к собственным губам.

— Она ушла босой, Елисей? — тихо спросила Варвара. Голос ее прозвучал из подполья глухо, ровно, словно она читала протокол вскрытия. — Без платья? Без сапог? В одной исподней рубахе по перволедью к реке побежала?

Елисей зажмурился.

Из-за его зажатых ладоней вырвался сухой, свистящий звук: х-х-х... х-х-х...

— Она... она сама... — выдавил он сквозь сжатые пальцы. — Она перед венцом мне в рожу плюнула. Ты, говорит, не муж. Ты даже голоса против отца своего и Мирона поднять не смеешь. Ты, говорит, слизень подпольный...

Он отнял руки от лица.

На его нижней губе, прямо по сухой, потрескавшейся коже, проступила тонкая, бурая линия.

Красная нить на губе Елисея не прорастала наружу — она шла под самой кожей, тонкая и ровная, словно её протягивали изнутри, из самого основания языка.

Елисей не замечал боли. Он смотрел на Варвару пустыми, оловянными глазами, и его бледные, бескровные губы шевелились, натягивая красную строчку до посинения.

— Я её спасти хотел, — прошептал он. Голос его осел, стал совсем детским, ломким, с заискивающей, плачущей интонацией. — Я ей говорил: «Молчи, Акуля. Не ходи на сход. Не говори про детей, которых осенью на барках вывезли. Мирон тебя в реке утопит, а отец мой подсобит». А она смеялась. Стоит у бани в свадебном платке и смеется: «Пусть топят! Я всем про ведомость расскажу! Я про вашего священника Савватия всё знаю, про его мальчонку Фаддея, которого тоже в список вписали, чтоб сан не потерять!»

Варвара поднялась из подполья, держа в руках край зашитого свадебного платья.

От ткани пахло речным илом с такой силой, что в горле у неё встал сухой, горький комок.

— Кто её в баню привёл? — спросила она.

— Мать твоя, — просипел Елисей.

Варвара замерла. Снег за заколоченными окнами светлицы продолжал валиться — густой, мягкий, бесслышный.

— Что ты сказал?

— Арина Мокеева её привела! — с вызовом, со слезой выкрикнул Елисей, вытягивая шею. На его висках вздулись темные, синюшные жилы. — Мать твоя к ней вечером пришла! Сказала: «Иди, девка, в баню. Мы тебя от Мирона спрячем. Мы тебе рот зашьем — легким швом, поуторным, заговорённым. Ты молчать будешь — и Мирон тебя не тронет, подумает, что ты умом тронулась или немота тебя взяла. А весной шов снимем, и уедешь в Усолье».

— Мать предложила шов? — выдохнула Варвара.

Слово «мать» вышло у неё хриплым, чужим, словно она сама впервые пробовала его на вкус.

— Мать! — Елисей сделала шаг к Варваре, его пальцы судорожно зажались в кулаки. — Она и нить принесла! Навье волокно, восковое! Сказала: «Акуля сама просила. Она за детей испугалась, думала, их на приисках забьют!» Акулина сама на лавку легла! Сама рот под иголку подставила!

Красная линия на его губе разошлась. Из уголка рта показалась тонкая капля сукровицы.

— А кто запер дверь? — тихо спросила Варвара.

Елисей остановился.

Его глаза метнулись к заколоченному окну, затем к дубовому засову светлицы, затем к полу, где темнела открытая плаха подполья.

— Мирон велел... — пробормотал он.

— Мирон?

— Мирон пришел, когда мать твоя из бани вышла. Пришел с моим отцом. Посмотрел на Акулину — она на лавке лежала, немая, с зашитым ртом, только глазами вращала. Посмотрел и говорит: «Нельзя её выпускать. Она и немая всё на пальцах покажет. Запереть баню до рассвета. А утром на барку погрузим и с детьми отправим».

— И кто запер? — Варвара сделала шаг к нему. Стальной саквояж в её руке казался тяжелее пудового валуна. — Кто засов опустил, Елисей?

Елисей поднял руку и с силой ткнул пальцем в собственную грудь.

— Я, — выдохнул он.

В горнице стало так тихо, что звук дыхания Варвары прозвучал как шум обвала.

— Я засов опустил, — повторил Елисей, и на его лице впервые проступило выражение дикого, облегченного безумия. — Поняла, Петровна? Не МIRON! Я сам засов в скобу забил! Потому что она мне из-за плахи кричала! Не голосом — ногами в дверь била! А я стоял на крыльце и думал: «Так тебе и надо, дрянь! Не хотела за меня замуж — сиди в парной, замерзай!»

Красная нить на его губе дёрнулась.

И из-за стены — из той самой пустой, открытой светлицы, где лежало мокрое свадебное платье, — донесся звук.

Это был стук.

Тук.

Пауза.

Тук.

Тук.

Кто-то трижды, со слитным костяным нажимом, ударил изнутри дубового стола прямо в сухую столешницу.

А затем из-под половиц, из той самой открытой ямы подполья, вырвался девичий шепот — тихий, шелестящий, с легким окающим наигрышем:

— *Елисеюшка... задвижку-то... отвори... Холодно мне в подполе...*

Елисей издал короткий, влажный вскрик, выскочил из светлицы, сорвал с крючка суконный тулуп и, не обуваясь, в одних посконных чулках, бросился во двор, распахнув ворота настежь.

Варвара осталась в горнице одна.

Она стояла над открытым подпольем, держа в заскорузлых от холода пальцах край зашитого свадебного платья.

Снег за окнами валился густой, серый, бесслышный, залепляя колеи вымороженного тракта.

На мокром кумаче платья, прямо под бурым, косым швом, вывелась свежая, налитая сукровицей строчка.

Это была не Акулинина роспись. Почерк был ровным, мелким, знакомым Варваре с самого детства — таким почерком мать записывала в приходские тетради имена принятых младенцев:

АРИНА МОКЕЕВА

А ниже, под материнским именем, вывелось еще одно слово:

ПРИИСК

Варвара опустила платье в подполье, задвинула половицу ногой и взяла саквояж.

Ей нужно было идти в церковь. К отцу Савватию.

Потому что человек, который переписывал приходские книги, всё еще стоял у алтаря.

Глава 8. Женский узел

Снежная крупа за окнами дома Мокеевых сменилась тяжелым, глухим валом мокрого метельного хлопья.

Снег лип к заиндевевшим бревнам венцов, забивал щели между ставнями, с мягким, шуршащим шипением сползал по тёсовой крыше, заваливая завалинку по самое приконное бревно. В горнице стоял сухой, глубокий холод. Тепло от утреннего розжига печи давно выдуло сквозь промёрзшую трубу, и в темноте пахло вымороженной пижмой, перекишшим овсяным опаром, сухой сажой и ладанным наплывом от выключенной под божницей лампы.

Варвара вошла в избу, не зажигая огня.

Она скинула на лавку сырую от растаявшего снега тальму, поставила саквояж на угол стола и замерла посреди горницы, слушая, как в ушах тонко и дробно звенит собственная сонная артерия.

Слова Елисея Вяземского всё ещё стояли у неё в гортани комком незапитой речной воды. *«Мать твою её привела... Роточек зашить предложила... Легким швом, заговорённым...»*

Варвара опустила руку в карман душегрейки. Пальцы нащупали суконный лоскут, в который был заворен кусок костяного пенька — отломанный кончик материнской иглы, найденный ею под лавкой в старой бане. Кость была холодной, острой, с мелкой нарезкой у ушка, и её острие въелось в подушечку большого пальца до сухой, некровоточащей ссадины.

Она повернулась к божнице.

Под потемневшим ликом Николая Чудотворца, намотанным на кованые железные скобы, сидел материнский сундук.

Это была тяжелая, рубленая из моренного дуба укладка, окантованная по углам коваными полосами просечного железа. За тридцать лет повитушья дела Арина Мокеева никогда не запирала её на замок в присутствии дочери. Варвара с детства помнила, что там лежали сухие повойники, чистые посконные холсты для рожениц, пучки берестовых лент и деревянные флаконы с маслом от родовой потухи.

Варвара подошла к сундуку и опустилась на колени прямо на промёрзший сосновый пол.

Кованая дужка замка поддалась без ключа — петля была выбита еще во время вчерашнего обыска. Крышка откинулась с тяжелым, разохшимся скрипом, роняя на пол сухие крошки вара и дегтя.

Внутри разило вылежанным льняным волокном, сушеной мятой и прелым суконным духом.

Варвара начала вынимать вещи, складывая их на голые половицы аккуратными, медицинскими стопками.

Сверху лежали бельевые холсты — чистые, выбеленные на мартовском насте, со следами сухой синьки на сгибах. Под ними — берестяные туески с сушеными кореньями: кровохлебка, змеевик, пастушья сумка, заготовленные Ариной прошлым летом. На самом дне, под слоем суконных подстилок, прощупывался плоский, тяжелый свёрток, обернутый в промасленную рогожку.

Варвара развернула рогожку.

Внутри лежала костяная игла и клубок сученой дратвы.

Игла была необычной — не той тонкой стальной иглой, какими земские хирурги зашивали рваные раны уральских рабочих. Это была древняя, выточенная из плотной моржовой кости цыганка вершка в четыре длиной, с плоским, расширенным ушком и слегка изогнутым, как у кошачьего когтя, острием. Кость пожелтела от времени, пропиталась жиром и пальцевым потом, а у самого ушка темнел глубокий, поперечный скол — ровно такой же, какой был на пеньке из её кармана.

Варвара приложила обломок из кармана к ушку.

Зубцы скола совпали безупречно, со словесным хрустом: *клик*.

Рядом с иглой лежал клубок.

Это была тяжелая, жесткая дратва буро-красного цвета, вываренная в сосновой смоле и пчелином воске. Волокно было скручено в три жилы, и когда Варвара провела по нему подушечками пальцев, на коже остался мутный, восковой след с запахом горячего дегтя и речного ила.

А посредине клубка был завязан узел.

Узор узла был ровным, сложным, с тремя перехлестнутыми петлями и петлевым захлестом на конце.

Это был тот самый свадебный узел, каким Акулина Вяземская заплетала свою алую ленту перед неудавшемся венчанием.

Варвара подняла иглу к самому лицу.

В сумерках горницы желтая моржовая кость казалась прозрачной. Внутри нее, сквозь толщу древнего бивня, проступали тонкие, темные жилки — точно внутри инструмента застыла сухая, мумифицированная система капилляров.

Она повернула голову к откинутой крышке сундука.

Внутренняя сторона дубовой крышки была оклеена старыми, пожелтевшими от времени листами приходских ведомостей за восемьдесят шестой год. Бумага в углах отслоилась, пошла пузырями и покрылась густым слоем черной печной сажи. Но ровно посредине крышки — там, где сажка была счищена до самого дерева, — темнели царапины.

Это не были следы жука-древоточца или случайно соскользнувшего ножа.

Кто-то вырезал на внутренней стороне дубовой плахи буквы — глубоко, с нажимом, используя вместо резца острие костяной иглы.

Варвара достала из саквояжа никелированный скальпель и начала аккуратно, движением хирурга, зачищающего края раны, счищать сухую штукатурку и бумажную труху вокруг надписи.

Сталь скользила по дубу со сухим, шелестящим звуком: *скреб... скреб... скреб...*

Из-под сажи проступала первая буква.

Она была выведена с крутым, размашистым верхним гачком — так Арина Мокеева всегда начинала строки в журналах принятых родов:

Н

За ней, выламывая дубовые волокна и оставляя на дереве мелкие, белесые занозы, подтянулись остальные:

Е

Во рту у Варвары снова появился тот самый сухой, металлический привкус запёкшейся сукровицы, который приходил каждый раз при приближении аномалии. Нить на её собственной нижней губе едва заметно натянулась, отозвавшись глухим, сверлящим уколом в надкостницу челюсти.

Варвара счистила последний пласт бумажной трухи.

На дубовой крышке сундука, прямо под ликом Чудотворца, горела вырезанная материнской рукой строка:

Н Е З А Ш И В А Й Ж И В У Ю

Ниже, с небольшим отступом влево, темнели еще три слова, выведенные мелко, судорожно, словно тот, кто резал дерево, уже слышал шаги за дверью:

Ш О В У Й Д Ё Т В К Р О В Ь

Варвара стояла на коленях перед сундуком, не в силах отвести взгляд от вырезанных букв.

Арина Мокеева знала.

Она знала закон красной нити ещё три года назад, когда вела семнадцатилетнюю Акулину в старую баню у реки. Она знала, что шов, наложенный на живое человеческое тело, не останется простым Заговором от немоты. Она знала, что нить заберет голос, а затем пройдет сквозь мягкие ткани, сквозь фасции и мышцы прямо в сонные артерии, превращая живую женщину в немой, налитый сукровицей механизм.

Но она всё равно взяла иглу.

Она взяла иглу, потому что староста Мирон стоял у ворот с договорами на отправку детей, а в церкви отец Савватий уже вымарывал из приходских книг имена тех, кого повезут на Чердынские прииски.

Арина хотела спасти девку от реки, а детей — от рудника. Она придумала «легкий шов», надеясь, что сможет разодрать его до рассвета.

Она ошиблась.

И эта ошибка застряла в горле Липового Яра на тридцать лет.

Варвара провела подушечкой большого пальца по вырезанной букве «Ж».

Острие костяного пенька в её руке дернулось. Кость пробила суконный лоскут, и острая игла вошла в подушечку пальца на вершок.

Варвара даже не охнула.

Из прокола выскочила крупная, круглая капля темно-вишневой крови. Она упала прямо в углубление вырезанной буквы «Ж», и дерево мгновенно впитало её, потемнев до смоляного блеска.

И в тот же миг сухая горница Мокеевской избы исчезла.

Варвару накрыло не видением — её накрыла **память собственного тела**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.